Р64

ГИБЕЛЬ

Im

№80

1-е издание вышло в октябре 1930 г. в колич. 5000 экз.
2-е » » » июне 1931 г. » » 5000 »
3-ье » » » октябре 1932 г. » » 10000 »

СЕМЕН РОЗЕНФЕЛЬД

ГИБЕЛЬ

ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
195723

Издательство Писателей в Ленинграде

Р

БИБЛИОТЕКА
Аграрного
ИНСТИТУТА
ПОГАШЕНО

538
40.5

№ 5277

Отпечатано для Издательства Писателей в Ленинграде в количестве 10.300 экз. — 6 л. типографией „Профинтерн", Ленинград, Екатерингофский, 87. Зак. № 3792. Ленгорлит № 48.092 Переплет и супер-обложка М. Кирнарского. Сдано в набор 13/VIII 1932. Подписано к печати 8/X 1932. Формат бумаги 82×110 см. Порядковый № 55. Типографских знаков в 1 печ. листе 80.440. Ответственн. редактор Д. Лаврухин. Технический редактор И. Серов. 1932.

На мне года тяжелых впечатлений
Оставили неизгладимый след...

Н. Некрасов.

Впечатления действительности всегда сильнее простого рассказа.

Ф. Достоевский.

ЭТАПЫ

Нас погрузили в тесный и грязный вагон.

Две свечи на крайних стенах вагона тусклым колеблющимся пламенем освещали силуэты людей под фонарями. В середине вагона было совсем темно. Запах карболки смешался с запахом грязной одежды, портянок, кожи сапог и тысячью других запахов.

С непривычки кружилась голова и тошнило.

Никаких надежд на освобождение до приезда в Никольск-Уссурийск не могло быть. Надо было взять себя в руки, покориться и повести себя так, как будто это было привычно, будто жизнь не изменилась и была всегда такой, как сейчас.

Воздух сгущался. Вонь становилась невыносимой. Из находившихся в вагоне арестантов некоторые прошли уже много тюрем, много месяцев не знали бани, не меняли белья и были осыпаны вшами. Каждый из них являлся самостоятельным источником вони. Казалось, что если бы открыть окна вагона, ничего страшного не было бы ни в решетках на окнах, ни в конвое, — только бы чистый воздух!

У дверей стоял часовой. После многих просьб и увещеваний он согласился приоткрыть немного дверь.

Ворвалась струя воздуха. Я глубоко и с наслаждением дышал, но немедленно раздались протесты: «холодно», «закройте»...

Эту боязнь чистого воздуха и равнодушие к духоте и вони я и до того наблюдал не только в тюрьме, но и на воле. Я видел много квартир, в которых неделями и месяцами не открывались окна или форточки и где духота и запахи домашней обстановки, тряпок, обуви, пищи и посуды годами внедрялись в стены и мебель, и квартиры провоняли на всю жизнь, согревая обитателей благополучием домашнего уюта.

Сдавленный со всех сторон, я сидел в углу и старался уснуть. Но спать было невозможно. Громкий храп, внезапные крики спросонья, удушливый воздух не давали задремать.

Я думал о том, как нелепо сложилась моя жизнь. Не явившись во-время к воинскому начальнику, я был арестован, и вот иду этапным порядком к месту своей военной службы, в Никольск-Уссурийск.

Мне предстоит проехать свыше десяти тысяч километров.

Сколько городов! Сколько тюрем и гауптвахт! Киев, Курск, Пенза, Самара, Челябинск, Омск, Красноярск, Иркутск, Чита, Маньчжурия, Никольск...

Мучительно тянется ночь. Сколько еще предстоит таких ночей...

В солнечный и морозный день мы приехали в Киев.

После многочасового смрада проведенной ночи день казался безграничной радостью, но нас сейчас же втолкнули в вагон трамвая и повезли в пересыльную тюрьму. Вместо стекол, в окнах вагона были фанерные щиты. Мы не видели, где едем, и так доехали до тюрьмы.

Киевская пересыльная тюрьма, как и все «пересылки», из-за своего специального назначения и беспрерывного прохождения через нее огромного количества арестантов, рваных, осыпанных вшами, отличалась нечистотой, сыростью и насквозь провоняла. Небольшие сравнительно камеры были сверх меры переполнены заключенными.

Главный контингент этапов и пересыльных тюрем составляли беспаспортные, отправляемые со всех концов России на родину. Обычно это были бездомные, голодные, нищие, «босяки», для которых родиной было любое место, где можно было не умереть с голоду, достать какое-нибудь пропитание и уголок, где можно было вытянуть ноги и поспать. Многие из них, обычно зимой, делали все возможное, чтобы попасть в тюрьму и до весны оставаться в тепле, получая паек. Они уничтожали документы, будучи арестованы, не называли себя, и только с наступлением первых весенних дней указывали свою родину, куда их отправляли для опознания и водворения на место.

На втором месте шли «настоящие» преступники или арестованные по подозрению, которых отправляли на место преступления для следствия и суда.

Затем шли осужденные на вечное поселение и ссыльно-каторжные, среди которых было много политических. Все

они резко отличались от остальных пересыльных арестантской одеждой и тем, что были закованы в ножные кандалы.

При переходах из тюрьмы к железной дороге и обратно, их кроме того сковывали попарно по рукам.

В пересыльной тюрьме их держали в отдельной камере. Из этой камеры днем и ночью раздавался звон кандалов. Звон их гулко отдавался в камерах и коридорах тюрьмы.

В углу камеры стояла российская тюремная «параша». Этот огромный деревянный ушат, который по утрам выносился двумя арестантами на толстой штанге, положенной на плечи, за ночь наполнялся до края. Из угла, в котором стояла параша, распространялся по всей камере тяжелый, дерущий в горле и ноздрях и вызывающий тошноту запах аммиака.

Сорок человек своими теплыми, много месяцев немытыми телами согревали грязные вонючие отрепья; на нарах и скамьях сушились портянки, насквозь прокисшие от грязи и пота. Тут же стояли сорок пар измызганных, затасканных и разбитых сапог и «котов».

Застарелые тюремные катары желудков и последствия ржаного пайка дополняли чудовищную симфонию запахов.

На столе коптила керосиновая лампа. Коричневый мрак нависал над всей камерой. В углах из густой тьмы доносился сочный храп. За столом сидела, сняв рубашки, группа арестантов. Из-под швов дырявых серо-коричневых рубашек они методично, деловито доставали крупных вшей и бросали их в горящую лампу. Вошь, попадая на горячее стекло или на фитиль, издавала тоненький треск. Вся нижняя часть стекла была покрыта коричневыми точками.

Другие арестанты, спавшие подальше от лампы, клали вшей на бумажку и ногтем большого пальца давили их.

За столом шел разговор вполголоса:

— Это курские жарят вошь, будто рыбу. Только лампу портят. Смотри, все стекло запоганили.

— Ладно, бей, коли бьешь. Не твоих, небось, жарю. Своих хватит.

— Вот погоди, в Курск придешь, там и про вшей забудешь. Там тебя самого зажарят.

— Ладно, милый, нас Курском не запугаешь, мы в Курске бывали.

За эти несколько дней я уже много раз слышал это с ужасом произносимое слово, — все пугали друг друга Курском, и сами его пугались.

Бывают тюрьмы страшные и не страшные. В одной тюрьме хорошо кормят, в другой — худо. В одной холодно, в другой тепло. В одной разрешаются падаяния от публики, в другой — нет. И каждый новый пересыльный узнает в этапе, от более бывалых, о любой тюрьме России. Где какой начальник, какие помощники, как часто туда и оттуда идут этапы, как кормят, какой там карцер и бьют ли по морде.

Знают также все о конвое. Вопрос о конвое не менее серьезен.

Я уже успел узнать, что харьковский конвой самый страшный. О нем вспоминал и рассказывал молодой, но бывалый и прошедший десятки тюрем арестант. О себе он сообщил мне, что по профессии он «холодный» сапожник, что ни один хозяин его на работу не берет, потому что «фрак у него плохой». Это означало, что «на мне, окромя рваных портков и рубашки ни хрена не бывает, ну, хозяину, конечное дело, страшно». А самому тоже не наладить работы — «струмента» нет. Ну, значит, приходится, «как охота пожрать, так итти покупать». Под последним словом понималась простая кража.

Он часто засыпался и, не имея паспорта, опять возвращался на родину этапным порядком. Через Харьков проходил он под охраной харьковского конвоя, отличавшегося бессмысленной жестокостью, не разрешавшего в дороге подниматься с места, смотреть в окно, сковывавшего пересыльных по рукам попарно. Был случай, когда конвой избил пересыльного, и, когда тот пытался сопротивляться, его застрелили тут же в вагоне за «попытку бежать». Однажды при посадке в вагон, один из пересыльных действительно сделал какое-то подозрительное движение, похожее на попытку скрыться за вогон, — конвой поднял стрельбу по арестантам, многих убив и ранив. Избиение пересыльных в пути было обычным явлением.

— Вот погоди, тебе обязательно пойти с этим конвоем, — сам увидишь.

Это дружеское напутствие скоро оправдалось.

Пока же продолжалась мучительная бессонная ночь в вонючей камере киевской тюрьмы. Мое место на нарах было одним из близких к параше. Подальше от нее устроились ранее прибывшие.

Маленький щуплый арестантик, обросший полуседыми колючками, юркий и словоохотливый, снимает рубашонку

и достает из складок вшей. Потом он отворачивает горелку от лампы, держит ее в левой руке, а правой макает в керосине свернутую трубкой газету и смазывает ею швы рубашки.

— Да... насчет вшей я, можно сказать, профессор... Вошь — насекомая злая... да. За мою жисть их проползло по мне, почитай, не меньше миллиону. Да... Уж давно к им привык. А которые не привыкли, тем, действительно, худо. Очень они, окаянные, чистое тело любят. Как звери бросаются на свежую кровь.

Он почесал пятерней под мышками, зевнул, перекрестил рот и продолжал:

— Пока человек ходит, движется, вошь прячется в складку, сидит, молчит. Ее не чувствуешь. А как сядешь, постоишь спокойно, или ляжешь, — тогда каюк, пропадешь от их... Да... Вот керосину не любят — действительно, это да... Бегут от его, как чорт от ладану... В которой тюрьме керосину дают много, там, значится, весь им оботрешься, ну, тогда поспишь...

Утром нас подняли свистком. После поверки нам дали кипяток и «пайку». В тюрьме паек называют «пайкой». Характерно, что ни у кого из заключенных не было ни сахару, ни чаю. Раздав всем по куску сахара, я лишился половины своего запаса, который взял с собой в этап.

В это утро вся камера пила чай, да при том — с сахаром, что было редкостью в пересыльных тюрьмах, где обычно главная масса заключенных — нищая братия, пребывающая и на воле не всегда в сытом состоянии.

Старый, степенный бродяга, жизнь свою проведший в тюрьмах, балагур и шутник, ко всему относившийся скептически и над всеми шутивший, сидя на нарах поджавши ноги, говорил:

— На воле, черти, лопали чай китайский с сахаром? Небось, вас и в чайную-то не пускали! Ишь дворяне — чаю захотели.

Мне он давал советы и указания, как вести себя с «блатвой»:

— Ты, паренек, не очень-то раскашливайся; тебе, брат, дней на сто дороги хватит. На семь-то копеек казенных не больно много пожуешь. Как бы не захворать.

На мое объяснение, что неловко как-то есть и пить, когда кругом голодные в рот смотрят, он резонно возразил:

— Всех не накормишь. Я от Херсона иду, — никому куска не дал. И не дам. Ты не смотри, что у меня мешок большой. Мне до Тобольска итти, да там верст шестьсот пешком.

Это был настоящий бродяга, т. е. человек, не называвший своего настоящего имени и своего действительного происхождения. Обычно такое положение на полицейском языке называлось «беспаспортностью», и таких бродяг весьма основательно подозревали в крупных преступлениях. Каралась беспаспортность пятью годами арестантских рот, с последующим поселением в Сибири.

Бродяги сознательно шли на это, — значит, наказание, грозившее им в случае раскрытия их имени, было гораздо больше того, что они получали за бродяжничество. Но, прежде чем судить за беспаспортность, их гоняли по всей России многие месяцы, иногда годы, для опознания и выяснения личности. Оттого они знали все тюрьмы России; оттого чувствовали себя в тюрьме как дома, возили с собой по двадцать фунтов сахару, фунты чаю и махорки, много белья и изумительно ловко прятали от конвоя деньги, строго запрещенные в тюрьме и особенно в этапе.

В тюрьме бродяги были «горлопанами». Они пользовались большим авторитетом среди арестантов и даже у начальства. Арестанты, почтительно шутя, обычно покрикивали: «Мальчишка, открой хвордку, — бродяга чай пьет», и изображали, как бродяга отстегивает ворот русской рубашки и вытирает пот с лица.

Снабжались бродяги в тюрьме, при отправке в дальнюю дорогу, «майданом».

Эти «майданы» уже вырождались и сохранились в немногих тюрьмах, постепенно теряя свой былой облик и сущность. В старину это было внутреннее арестантское предприятие, отдаваемое арестантами на известный период времени группе старых заключенных в откуп. Майдан имел в одной из камер полулегальную лавку, в которой бывали обычно сахар, чай, табак, сельди, булки и иногда водка. Помимо того майдан давал игральные карты, взимая, как в клубе, с игры или с оборота. Майданщики брали в откуп баню, где за деньги давали банщиков, мыло, мочалку и веники. Они наживали большие, по тюремному масштабу, деньги и жили, по тюремным понятиям, припеваючи. Зато они обязаны были снабжать старых арестантов, уходящих в длительный этап, в другую тюрьму или на поселение, всем необходимым для беспечального житья на все время пути.

Вот такой старый бродяга, бывший майданщик и горлопан Иван Беспамятный, как он официально именовался, был моим новым приятелем, учителем и советчиком. Спокойный, уравновешенный, с приятными округлыми движениями, без обычной для арестантов суетливости, с видом чрезвычайно независимым, он производил впечатление добродушного и снисходительного профессора среди юной и шумливой аудитории.

Почти весь день, не слезая с нар, он сидел, поджав под себя ноги и, медленно сворачивая «цыгарку», изрекал мысли, задевал по очереди всех арестантов, передразнивая их манеру говорить, пугая будущим, упрекая в нищете, в неуменьи устроиться, добывать средства и проч.

Днем нас выпустили во двор пилить дрова. Я с радостью присоединился к немногим пожелавшим итти работать. После удушливого воздуха камеры, к которому, кстати сказать, я успел за ночь немного «принюхаться», морозный воздух, чистый и прозрачный, казался сладостным и утоляющим, как стакан холодной воды в минуту изнурительной жажды. Я пилил дрова, отдыхал и снова пилил, чтобы только продержаться как можно дольше на дворе. Но радость эта скоро окончилась, и пришлось вернуться в камеру, полную махорочного дыма и едкой копоти.

Вокруг лампы уже собрался кружок арестантов, и один из них в сотый раз рассказывал:

— Мы новохоперские... потом нас оттелева переселили... мы, стало быть, всей семьей... потом братан со службы-то в отпуск вернулся, а ему кто-то и скажи, что отец с бабой евонной спутался... ну, он на него с топором... я на него... Нда...

Эту историю он повторял уже много раз монотонным, равнодушным голосом.

Я подошел к бродяге, ожидая интересной реплики или шутки.

— Что, паренек милый, новохоперский надоел? Это верно, что он рассказывает. Это в деревне часто. Старик здоров, как боров! Как сын из дому, он к его бабе... А баба, известно, старика боится. Ну, вот и грех... Это в какой хочешь деревне спроси, — все скажут. Я в Сибири много жил, — там в каждом доме снохач.

Из коридора раздалась команда:

— Стройсь на поверку!

Мы выстроились в две шеренги. В камеру вошел дежурный помощник начальника, за ним отделенный. Быстро сосчитав людей, они удалились, ничего не спросив и не сказав. Кто-то снисходительно похвалил местные порядки:

— Здесь — ничего, жаловаться нельзя. Зря не пристают и не лаются.

— Не лаются, зато жрать не дают. Хлеб до обеда весь сожрал, а теперь жди опять до завтра.

— А ты чего ж хотел? Дали хлеб, — говори спасибо! Погоди, в субботу подаянье получишь — сайку белую.

— Вот, ребята, в Сибири хорошо жрать дают! На обед кондер с крошенкой и пшенную кашу, ей богу!

— Чего Сибири ждать! В Самаре, опосля щей, обязательно горох.

— Это верно, я в Самаре был.

— Ну, вы там, разожрались! Вот погодите — в Курск придете, все каши получите.

Напоминание о Курске всех охладило. Я вспомнил, что в Курске царствует Муратов — свирепый и архиреакционный губернатор, объединивший вокруг себя черносотенную накипь губернии.

Слова арестанта о субботнем подаянии были сказаны не зря. Уже много лет в киевской пересыльной тюрьме какой-то старик «с воли», при каждой отправке этапа, раздавал всем заключенным белые сайки, по одной штуке каждому. Мне не удалось точно выяснить, кто был этот старик, почему он избрал такой путь благотворительности, но по кое-каким сведениям можно было понять, что у старика есть или был сын, который не то сидит, не то погиб в тюрьме. Оттого старик обратил всю свою доброту и ласку на заключенных, которых и подкармливал белоснежными сайками.

Когда отправляли из Киева, после приемки арестантов конвоем в конторе тюрьмы, нас вывели во двор.

С улицы несколько арестантов внесли корзины с вкусно и аппетитно пахнувшими сайками. За ними шел маленький седой старик. Спокойное и доброе лицо его было бледно и болезненно. Он встал у корзины и начал раздавать сайки. Когда я подошел к нему, он ласково взглянул на меня и, то ли моя молодость, то ли моя солдатская шинель его покорила, но он быстро взял из корзины две сайки и сунул мне их в руки.

Арестанты посмеивались. На рябом и широком лице бродяги добродушно и хитро улыбались глаза.

— Повезло тебе парень, он редко кому две сайки дает. Божий старичок — за трешку душу спасает. За сотню саек в рай хочет.

Дня за три до нашей отправки из Киева в нашей камере появились новые люди из других камер. Среди них был рыжий и толстый человек по фамилии Бурштейн. Его везли из одного города в другой, где он натворил кучу исключительных дел. Он продавал фальшивые медикаменты всех родов и наименований. В коробки, бутылки, тубики, в самую разнообразную упаковку он напихивал всякую дрянь — только не лекарства.

Рассказывая об этом, он, глядя мне прямо в глаза, говорил, горячо жестикулируя:

— Верьте мне, как честному человеку, — все лекарства были безвредны. За что же меня судят? Что я сделал, я вас спрашиваю?

Он искренно был уверен, что лекарство принимается больными только для того, чтобы оно не повредило здоровью.

— От моего лекарства никто еще не умер, чтобы я так был здоров и увидел своих детей. За что же меня судят, я вас спрашиваю?

Бурштейн был разговорчив. Он знал кучу русских пословиц и поговорок, но все так перевирал, что они вызывали смех именно своей нелепостью. Когда киевский старик дал мне две сайки, Бурштейн сказал:

— Ну, что же, с паршивой рыбы — хоть шерсти клок.

Когда позже, в вагоне, у меня началась мигрень, Бурштейн искренно огорчился:

— Подумайте, какая досада! Всю жизнь я вожу коллекцию наших медикаментов, а теперь, как на зло, у меня ничего нет!

Я слабо возразил:

— Зачем же мне ваши медикаменты, когда они поддельные?

— Верьте мне, как честному человеку, они бы вам не повредили!

Интересные диалоги происходили между Бурштейном и бродягой:

— Чудак ты, ваше благородие, яврейчик! Торговал бы ты настоящей касторкой или, скажем, нитроглицерином, или датскими королевскими каплями, и сидел бы себе дома, в ус не дуя! А ты тертым кирпичом торгуешь!

— Что вы говорите! Вы же совсем не коммерсант! Много вы наживете на настоящих медикаментах!...

— Не хорошо, Боря, честных людей обманывать. Вон, Гаврилов, без всяких медикаментов, дал раз попу по кумполу, — из того и дух вон.

Бурштейн оглянулся на Гаврилова, подозреваемого в убийстве священника с целью грабежа.

— Что же вы думаете, ему-таки не лучше, чем мне.

Бурштейн часто и много рассказывал о себе и своих делах, обычно применяя готовую формулу:

— Моя специальность — медикаменты. Но вы же сами понимаете — на настоящих много не наживешь, так я торговал не совсем настоящими. Что называется: за неимением золотой, пишешь на гробовой. За что же меня судят, я все спрашиваю?

Арестантам он нравился своей непосредственностью и добродушием. Над ним подтрунивали, но относились к нему не так злобно, как относились обычно к чужакам «тартерам».

Тартером назывался в тюрьме всякий заключенный, случайно попавший в тюрьму: растратчик, аферист, проворовавшийся приказчик или другой случайный нарушитель закона, но не профессионал.

Своими считались профессионалы: воры, убийцы, грабители, бродяги. Их жизнь на воле не знала спокойствия, так как занимались они только своей профессией и подвергались ежечасно опасности «засыпаться» и сесть надолго в «кичу» или «кичман».

Оттого они обычно говорили:

— Кому тюрьма, — а нам дом родной.

На что, кстати, Бурштейн обычно возражал:

— Кому дом родной, — а мне-таки тюрьма!

Теперь Бурштейн вместе с нами отправился в пресловутый Курск с пресловутым харьковским конвоем.

Всю жестокость этого конвоя пришлось испытать Бурштейну одному из первых.

Нас отправили из тюрьмы на вокзал так же, как раньше с вокзала в тюрьму, в трамвае. Мы опять проезжали через весь город, не увидев ни единой улицы и ни единого человека.

Вагон стоял далеко на запасных путях, так как до отхода поезда оставалось еще много часов. Несколько факелов в руках конвойных, создавая мрачную и нелепую торжественность,

не рассеивали темноты. Шли медленно, стараясь не споткнуться о рельсы.

Обычно конвойные боятся темноты больше, чем арестанты конвойных, так как в темноте, за городом, увеличивается опасность побегов. В такие минуты конвойные дико ругаются, орут, замахиваются шашками, грозят наганами, стреляют в воздух, толкают кулаками в спину. Особенно достается каторжанам, закованным в кандалы, острыми краями натирающие ноги выше щиколки. Большинство каторжан впоследствии обзаводятся своими подкандальниками, а до этого они носят казенные, грубые, тяжелые и неподогнанные к ноге.

В одесской тюремной больнице я видел в палате для туберкулезных умирающих больных, политических заключенных, с кандалами на ногах.

Кто не видел человека в последние часы его жизни, умирающего от чахотки, тот не знает, во что может обратить болезнь человеческое тело. Кожа буквально обтягивает кости несчастных. Руки, ноги и пальцы тонки и прозрачны. Икры и ягодицы исчезают, живот проваливается. Голова маленькая и едва держится на тонкой шее. Цвет кожи — иссиня-желтый. Больной не имеет сил. Он не может повернуться или поднять головы.

Я тогда впервые видел такого умирающего. Маленькое желтое лицо потемнело и было влажно. Тусклые и безжизненные глаза глубоко провалились. Тоненькие восково-желтые руки с посиневшими ногтями лежали поверх одеяла.

А на ногах были кандалы...

Перескакивая с рельсы на рельсу, под крик конвойных, под звон кандалов, мы добрались до зеленого вагона с решетками на окнах. Тюрьма на колесах!

Нас, скованных ручными кандалами попарно, ввели в вагон.

Бурштейн заметил:

— Раз в темноте, так в обиде!

В вагоне вонь и духота. От кого-то еще пахло иодоформом. Было очень тесно, так как маленькой группе каторжан отвели половину вагона, в другую — втиснули нас.

Поведение конвоиров ничего хорошего не предвещало. Как только уселись и сосчитали арестантов, началась поверка по фамилиям, имени, отчеству, местам отправления и назначения.

— Иванов! Имя-отчество! Сколько лет? Откуда? Куда? Садись!

Грубые и резкие окрики никого не удивляли и не оскорбляли. Это было в порядке вещей. Но в тоне конвоиров улавливалось что-то подчеркнуто недружелюбное, чувствовалась угроза. Да и подготовлены мы были изрядно слухами об этом конвое.

У меня началась мигрень. Я мечтал уже только о том, чтобы задремать хотя бы сидя. Любезное сочувствие и сожаление Бурштейна об отсутствии его коллекции медикаментов, от которых «никто еще не умер», высказанное довольно тихо, почти на ухо мне, вызвало ярость конвоира:

— Ты што, твою мать?! В морду захотел?!! Я тебе поговорю, стерва рыжая!.. Молчать! Как фамилье?

У Бурштейна язык отнялся, он пытался что-то ответить, но из горла вылетали только хриплые, бессмысленные звуки.

Конвоир снова заорал:

— Как фамилье?! Тебе спрашивают?!

Он вплотную подошел к нему.

Бурштейн напряг все силы и ответил:

— Бурштейн.

— Жид? Смотри, жидовская образина, поразговаривай у меня!

Он поднес к самому носу Бурштейна огромный кулак. Бурштейн отшатнулся и с силой ударился головой о спинку сиденья. Это очень рассмешило конвоира, и он ушел.

В это время «старшой» продолжал поверку. Приблизившись к одной из скамей, он закричал, как на улице или среди глухих:

— Гнашенко!

Никто не ответил.

— Гнашенко!

Опять никто не отвечал. Но спустя несколько секунд сидевший на краю арестант сказал:

— Может, Гнатенко? Я — Гнатенко.

Старшой взглянул на него, неожиданно размахнулся и огромным кулачищем с силой ударил его по лицу.

— Што ж ты... мать, не отвечаешь, когда тебя окликают?! А?!

Гнатенко от удара упал на рядом сидящего и ударил его головой в ухо. Не успел он подняться, как получил второй удар по лицу. Он вскочил и диким голосом закричал:

— За что бьешь?! За что бьешь?!

Но третьим ударом был усажен на место.

Старшой орал:

— Закую, сволочь! Застрелю, собака! Ты у меня поговоришь!

В вагоне наступила зловещая тишина. Бурштейн в своем углу скорчился и втянул голову в плечи. Он смотрел на меня, как смотрят больные собаки.

Беспамятный, сидевший против нас, был мрачен. В темноте глаза его блестели зелеными огоньками.

В другом углу сидел цыган-конокрад. От испуга у него сразу расслабился кишечник. Он взмолился:

— Господин начальник, господин начальник, пусти в отхожий мэсто! Пусти!

— Вот я тебя пущу, сволочь цыганская! Еще поезд не пошел, а тебе уже...

— Пусти, господин начальник, не могу больше... Пусти, живот болит...

— Ну, иди, не воняй здесь, фараоново племя!

Этот трагикомический инциндент не разрядил атмосферы. Поверка продолжалась. У Гнатенко сразу опухло и побагровело лицо. Из носа шла кровь. Он прикладывал к носу какую-то тряпку, но она вся уже была в крови. Руки также были в крови, и Гнатенко вытирал их об полу шинели.

Старшой и другие конвоиры приближались к нам. По мере их приближения лицо Беспамятного все больше омрачалось. За время нашего знакомства я еще не видел его таким. Глаза блестели и напряженно смотрели на группу конвоиров. Я почувствовал в нем огромную внутреннюю силу и значительность.

Бурштейн оцепенел и смотрел застывшим взглядом в одну точку.

Меня охватила ненависть к конвоирам за их тупую и ничем не вызванную жестокость. Я дрожал от волнения.

Картины избиения беззащитных людей вооруженными негодяями мне приходилось видеть не однажды.

Я видел во время погрома, как несколько хулиганов били палками и камнями седого старика. Он лежал на мостовой, грязный и окровавленный. Он не пытался сопротивляться, так как это было немыслимо. Он был абсолютно беспомощен, но молодые, здоровые негодяи били его до тех пор, пока он не перестал кричать...

Тогда же я видел, как обезумевшая толпа вырвала из рук санитаров раненого и избитого студента и продолжала всей толпой избивать его...

Государств. публичная историческая библиотека
Библиотека Аграрного института
Погашено

Я видел, как в полицейском участке, по приказу дежурного околоточного «принять как следует», «принимали» одного человека десять городовых. Пока он пролетал расстояние от дежурной комнаты до камеры, он получал сотни полицейских ударов кулаками, каблуками и ножнами. В камеру он влетал уже окровавленный, с разбитым лицом и отбитыми легкими.

Я видел из своей камеры в одесской тюрьме, как усмиряли «бунт» политических женщин в женском отделении, как их избивали, как волокли по двору за ноги и за волосы в карцер...

Я видел, как на улице большого города дворники и городовые избивали вора, худого и оборванного, падающего с ног при каждом ударе тяжкого дворницкого кулака...

Я видел пьяную проститутку, которую связали веревками и тащили по мокрой и грязной мостовой через всю улицу и, устав, бросили в полузамерзшую лужу...

Для меня ничего нового не было в том, что делалось в вагоне. Это было почти обычно.

Но эта детская, страшная беспомощность взрослых, эта полная оторванность от всего мира, эта полная невозможность сопротивляться и бесполезность попытки остановить их жестокость словом или убеждением — были действительно страшны.

Конвоиры подошли к нам.

— Бурштейн! Имя-отчество? Сколько лет? Откуда? Куда? Особые приметы есть?

На последний вопрос Бурштейн не ответил.

— Особые приметы есть?!.

— Какие предметы?

— Выходи на свет, хороба собачья!

Бурштейн, не понимая вопроса, смертельно испуганный, оставался на месте.

— Выходи, говорят тебе, сука жидовская!

Бурштейн заворочался в углу, пытаясь подняться, но не успел, так как получил удар кулаком снизу в подбородок и сейчас же второй удар по голове. Бурштейн схватившись за голову, визгливо, закричал.

У меня от злобы потемнело в глазах. Я чувствовал, что больше не владею собой. Вскочив, я диким голосом заорал:

— За что бьете человека?! За что бьете? Не смейте, разбойники!

За мной сразу вскочили Беспамятный и несколько чело-

век из наших и каторожного отделения. Мы все, наперебой, кричали и топали ногами:

— Как вы смеете!..

— Не имеешь права!..

— За что бьете, сволочи!..

— Ответишь за это!..

Сбежались все конвоиры. Выхватив револьверы, размахивая ими перед нашими носами, толкая нас кулаками в грудь, они кричали:

— По местам! По местам! Стрелять будем! Перестреляем всех, как собак!

Мы стали усаживаться. Конвоиры, бешено ругаясь и угрожая, орали:

— Кто подымется, тот пулю получит! Ни с места, бродяги проклятые... Я вам всем покажу!..

Поверка продолжалась. Опросив Беспамятного, конвоир начал задавать мне вопросы. Получив все ответы, он ругаясь, заявил что «это так не кончится».

— Я с тобой еще расправлюсь.

Кто-то из каторжного отделения крикнул:

— Ладно, не пугай, милый! Пострашнее тебя видели. Сам только не сплошай, а нас не пугай!

Стена была сломлена. Страшная слава харьковского конвоя была основательна, но, встретив отпор, конвой как будто немного смирился, так как ничего больше сделать не мог, разве в самом деле всех перестрелять... Но для этого все же не было никакого законного повода. История тюрьмы знает не один бунт арестантов. Доведенные до отчаяния голодом или жестокостью, заключенные стихийно восставали. Но ни один тюремный бунт не мог кончиться в пользу заключенных, так как режим ничем измениться не мог, зато заключенных беспощадно расстреливали, а оставшихся в живых жестоко наказывали, увеличивали им сроки заключения и рассылали по другим тюрьмам. Но бессмысленность бунта их не могла остановить, потому что к этому их доводило отчаяние.

Я вспомнил слова Достоевского в «Записках из мертвого дома»:

«Арестант послушен и покорен до известной степени, но есть крайности, которых не надо переходить».

По узкому проходу вагона взад и вперед разгуливал караульный. Бурштейн тихо всхлипывал, все время держа платок у глаз. Когда я нагнулся к нему и на ухо, шопотом, сказал:

— Ну, успокойтесь, Бурштейн, усните. Потом все будет лучше, — он мне ответил вопросом:

— Зачем мне все это нужно было, я вас спрашиваю? Мне это нужно было, как собаке пятое колесо.

У меня от всего пережитого усилилась мигрень. Обычно от порошка пирамидона и двух-трехчасового сна мигрень проходила, но в этих условиях без лекарства и возможности хотя бы полежать, надежд на улучшение не было, и я приходил в отчаянье.

Сидевший против меня цыган также страдал. Острое кишечное заболевание требовало медицинской помощи и покоя, а ему приходилось сидеть в углу и, поджав под себя ноги, ждать Курска, до которого было очень далеко, так как мы не выехали еще из Киева.

Только ночью, после долгих маневрирований с нашим вагоном, нас прицепили к поезду, и мы поехали.

Воздух в вагоне сгустился. Болезнь цыгана этому немало способствовала. Беспамятный храпел и свистел носом на все лады. Ему аккомпанировали другие арестанты.

Монотонный стук колес, обычно укачивающий и успокаивающий, теперь каждым ритмом ударял в голову, как молотом. Веки отяжелели и сами собой опускались, голова свисала, но сна не было.

Не верилось, что в соседних вагонах ехали свободные люди, ехали не туда, куда их везут, а куда они сами хотят или должны ехать. Ехали в чистоте, на свежей постели. Одни уже спят, другие читают, третьи разговаривают с соседями. Может ли это быть, не бред ли это? В уставшем и затуманенном мозгу путались события прошлого и настоящего, реального и фантастического.

Я на минуту задремал и сразу увидел себя на Лионском вокзале в Париже, откуда я так недавно уезжал в Монтэньи возле Фонтенебло. Потом вагон пригородной железной дороги. Я узнаю этот вагон... Меня укачивает... Колеса ритмично постукивают... Против меня соседка любезно объясняет, как пройти от станции до усадьбы. И дорогу к усадьбе вижу. И день, чудесный, свежий, осенний день... Я иду полем...

Вдруг толчок. Я вздрагиваю. Оглядываюсь и вижу проснувшегося Беспамятного. Он сейчас же снова засыпает и храпит, как почти все кругом. Из купе конвойных также доносится дружный и крепкий храп.

За окном, в темноте, начинают мелькать огни. Поезд замедляет ход. Вагоны проходят стрелки, скрипят и прыгают

по стыкам. Станция. Наш вагон, очевидно, в хвосте, потому что станции не видно. У вагона слышны голоса. Близко где-то шумит паровоз. Другие паровозы, как будто перекликаясь, свистят протяжно и коротко, низким, хриплым басом и высоким тенорком.

Шумы и голоса из потусторонней жизни, далекой и чуждой.

Потом мимо нас проплывает ярко освещенная большая станция. На перроне публика. Еще минута — и вагон опять вползает в темноту ночи и, подрагивая, качается.

Утро осветило серые, землистые лица, покрытые пылью и потом. Лица специфически тюремного цвета, по которому, где бы я ни встретил человека я бы узнал недавнего арестанта.

Истерзанные отсутствием воздуха, голодом, вонью, бессонницей, неудобным положением, арестанты выглядели как люди, перенесшие тяжелую болезнь. Многие из них действительно больны. От несвежей пищи и еды всухомятку у арестантов обычно хронические катары желудка. Этому способствует также и то, что арестанты часто голодают, а затем, раздобывши пищу, объедаются. Туберкулез легких и ревматизм — также обычные попутчики тюремных жителей.

Голодать в этапах приходится обязательно, так как деньги, если они имеются у пересыльного, по закону отнимаются при отправке и отдаются только по прибытии на место. Редко деньги остаются у конвоя, который может на станциях покупать для арестантов пищу. Арестанту полагается семь копеек в сутки. На эти деньги ему покупают конвойные на станциях все, «чего душа захочет». Если купить себе на все деньги хлеба, то, кроме того, что и хлеба этого не хватит на сутки, не достать уже ни чаю, ни сахару. Купить же сахару и чаю — значит остаться без хлеба.

Все, что я имел с собой, я успел съесть и раздать. Теперь начались тяжелые дни. Вчерашние сайки были съедены. Горячая вода, которую нам приносили в вагон, была, без чая и сахара, отвратительна, и согреться было нечем.

Конвой категорически запрещал разговоры. Сидеть целый день в вагоне почти неподвижно, ничего не делать, не читать и не разговаривать — пытка. Невозможность высказать свою мысль, наблюдение, впечатление — тяжелей голода, карцера или других лишений. Один только цыган своей болезнью узаконил свою частую беготню в «отхожий» под наблюдением сопровождающего конвойного. Это заметно разнообразило

его день. Всем остальным эти радостные прогулки были сокращены до минимума.

Беспамятный мимикой и выражением умных и хитрых глаз передавал мне свои впечатления от виденного из окна и свои чувства к конвойным.

Зато бедный Бурштейн впал в такую депрессию, что его охватывала паника, когда я нагибался к нему и шептал что-нибудь на ухо. Прикладывая два пальца к губам, он жестами и выражением мольбы в глазах умолял меня замолчать.

Он пожелтел и поблек. Небритое лицо было измято и вяло. Усталые глаза помутнели. В одну ночь он постарел. Из всех пересыльных он производил самое жалкое и печальное впечатление. Его было жаль больше других. Беспамятный посмотрел на него, потом на меня и, указав на него взглядом, махнул безнадежно рукой, как бы говоря:

— Пропал парень, ему «этого» долго не выдержать!

Гнатенко выглядел по-иному очень нехорошо. Под глазами у него багровело красное пятно. Глаз сверху запух и наполовину закрылся. Он был хмур и, опустив голову, глядел упорно под скамью.

День тянулся до отвращения бесконечно. Окна вагона залепило снегом. Мы ехали, оторванные от всего мира, слепые, глухие, немые, безвольные, голодные и неподвижные... И так еще предстояло ехать много недель, много тысяч верст, все дальше и дальше от родины и близких людей в далекое, неизвестное и печальное...

Мы приехали в Курск.

В густой темноте мы не видели ни улиц, ни домов, ни людей; очевидно, все спали. Может быть это была окраина города, и население, уставшее от работы за день, рано ложилось спать. Только стук наших шагов и звон цепей да далекий лай собак нарушали тишину. Несколько факелов, освещая только наши лица, еще больше сгущали вокруг нас темноту, создавая небольшой, тускло освещенный островок среди плотного и тяжелого мрака.

Наконец, вдали показалось несколько тусклых огоньков, которые скоро увеличились и стали ярче. Мы приблизились к невысокому зданию, окруженному кирпичной стеной и освещенному несколькими фонарями.

У ворот тюрьмы нас держали недолго. Впускали по одному, вызывая по фамилии. После этого нас ввели в коридор у конторы и начали принимать от конвоя.

Сколько бы раз ни переходил арестант из рук в руки от конвоя к тюремной страже и обратно, — он обязательно сызнова подвергается обыску. Казалось бы от харьковского конвоя можно спокойно принять арестантов, не боясь, что у них может быть что-либо предосудительное. Но и этот конвой был, очевидно, недостаточно авторитетен для курского начальства. Нас догола раздевали, щупали складки белья, где уж наверное, кроме вшей, ничего не могло быть. В бушлатах и шкарах арестантов, одетых в казенные костюмы, и у каторжан просматривали все швы и складки. Снимали сапоги и коты, расстегивали подкандальники и прощупывали шапки.

Просматривая мешок с продуктами Беспамятного, они высыпали на стол, где только что была махорка, весь его сахар и, вываляв его основательно в махорочной пыли, насыпали обратно в мешок, обругав его за большое количество сахара и табаку.

Продержав несколько часов в коридоре, нас повели в камеры. Каторжан от нас отделили, а всех остальных впустили в одну большую камеру, где уже было несколько человек. Мы разбежались по камере, наперебой стараясь завладеть местом на нарах, так как обычно мест нехватало и многим приходилось лежать на полу. Боясь потерять единственный комфорт — местечко на нарах, я также быстро бросился вперед и устроился рядом с Беспамятным и другими, теперь уже старыми знакомыми.

После вчерашней бессонной и мучительной ночи, после многочасовой неподвижности и нервной усталости — перспектива лечь, вытянуть ноги и, может быть, выспаться, казалась радостной и заманчивой. У меня явилось чувство недоумения — что же страшного в этой тюрьме? Здесь прекрасно — нары, местечко, где можно отдохнуть, подремать. Все в мире условно! То, что для многих было бы ужасом, теперь казалось мне радостью и покоем. Попав сюда несколько дней тому назад, я пришел бы в содрогание, а теперь мне было хорошо. Можно было даже разговаривать, конечно не очень громко. Все стали укладываться, приспособляться к новому месту, стараясь из собственной одежды и тряпок скомбинировать ночной уют. Многие стали засыпать, не занявшись даже обычным перед сном поджариванием вшей.

Среди арестантов, которых мы застали в камере, был высокий, красивый старик с большой окладистой бородой, с виду почтенный и степенный. Он поднялся со своего

места и ходил по камере, узнавая от прибывших, кто, откуда, за что. Нам он сообщил:

— Ох, как худо, ребята. Главное дело — бьют. Бьют почем зря, ни за что, ни про что. В карцер сажают, жрать не дают и держат подолгу.

Он говорил шопотом, со страхом поглядывая на дверь.

— Главное дело, ни с того ни с сего, дверь откроет, в камеру вбежит: «Кто шумел? Говори, кто шумел?» Все молчат. Тогда подойдет к первому попавшему и трах, трах — по морде. А за что, про что, так никто и не знает. А то в карцер потом сволокут. Вот погодите, сами все увидите.

Другие, из местных старожилов, рассказывали в том же духе:

— Курить нельзя, жрать не дают, по морде бьют.

Опять морда!

Сколько раз за эти несколько дней я видел, как бьют по морде, и сколько наслышался рассказов об этом. Одно это слово чего стоит: *морда*.

Если бьют, то уж, конечно, не по лицу, а обязательно по морде.

Я думал: наша благословенная страна — единственная в мире, где так часто и по таким ничтожным поводам и без всяких поводов бьют по морде. Это битье по морде вошло в кровь и плоть россиян. Бьют в России испокон веков. Били при царе Иване. Бил сам царь, и били опричники. Били при Борисе. Били при Петре. И сам Петр любил бить по морде. Били при Екатерине. Не знаю, дралась ли она сама, но начальство больно дралось. Павел бил самолично по морде часто и много. Били помещики, управляющие, урядники, пристава, земские начальники. Били околоточные, городовые, тюремные начальники, их помощники и надзиратели. Били мастера и подмастерья. Били ротные, взводные, отделенные. Били фельдфебели. Били на военной службе все, от прапорщика до генерала. Били все, кто не рисковал получить в морду обратно. Били и так — из любви к искусству. Били для оскорбления, били за оскорбление, в наказание, для воспитания и в назидание.

«Как дал ему в морду!»

«А в морду хочешь!?»

«По морде дам!»

Крепкая, испытанная, тренированная, ко всему привыкшая российская морда!

В камере почти все уже спали. Только в темном углу, у окна, стоял на коленях старик и долго, крестясь и кланяясь, молился. Потом и он улегся. Кто-то скрипнул зубами. По коридору однообразно шагал надзиратель, позванивая связкой ключей.

Не успели мы уснуть как следует, как все вскочили от пронзительного свиста. Такой свист поднимали городовые на улице при погоне за преступниками. Свист этот и на улице слышен был бы за квартал и был резок и громок, здесь же, в каменном сводчатом помещении, он раздался как выстрел. Все уже были на ногах, испуганные, ничего не понимающие и дрожащие от страха и сна. Надзиратель побежал к камере и, быстро открыв дверь, крикнул:

— Стройсь на поверку!

Потом побежал дальше. Слышно было, как он бегал по коридору, открывая дверь за дверью, как, звякнув, падала цепь с двери и как он кричал:

— Стройсь на поверку!

Все камеры открывались почти одновременно, и арестанты строились в две шеренги на поверку. И потом стояли, пока дежурный помощник со свитой надзирателей влетал в камеру и считал людей.

В соседних камерах хриплый голос орал:

— Смирно!

И вслед за ним:

— Здорово, ребята!

И грубый нестройный рев:

— Здравия желаем, ваш высокородий!

Этого мне ни в одной тюрьме не приходилось видеть и слышать. Военный режим, военная команда, военные приветствия! Это было ново, неожиданно и неприятно.

Мы не могли понять, который час. Судя по тому, что мы совершенно не выспались, что на дворе была полная тьма, надо было думать, что до утра далеко. Потом мы узнали от старожилов, что подымали в три часа ночи и больше спать не давали.

Было холодно. Тело ныло и болело. Мы бесконечно долго стояли, переминаясь с ноги на ногу. Старик с почтенной бородой шопотом рассказывал, что сегодня дежурит самый страшный помощник:

— Свирепый. Как что, так матерщину и в морду лезет. Евонные дежурства — раз в пять дней. Сегодня он раньше времени дежурит. Принесла его нелегкая.

Наконец, в камеру влетел надзиратель и крикнул:

— Смирррно!

Вслед за ним, гремя шашкой и скрипя кожей, вбежал огромного роста, здоровенный молодой помощник с толпой надзирателей. Не добежав до нас несколко шагов, помощник крикнул высоким голосом:

— Здорово!

— Здравия желаем, ваше благородие!

— А ты что не отвечаешь, сукин сын?

Я не заметил, к кому относился вопрос.

— Ты что не отвечаешь?..

— Никак нет, я ответил.

— Врешь, сволочь! Повторите все! Здорово!

— Здравья желаем, ваше благородие!

И вдруг удар по лицу. Кто-то выпал из шеренги, затем стал на место, но вторым ударом был снова выброшен из ряда.

Помощник орал:

— Я тебя научу, сволочь, как отвечать!

К помощнику подбежал надзиратель и что-то тихо сказал. Помощник подошел к крайнему в первом ряду. Это был знакомый уже нам старик. Чем он провинился, что и почему о нем надзиратель шопотом доложил помощнику, никто не знал. Подойдя к старику, помощник, не произнеся ни слова, с железной силой огромного кулака наотмашь ударил старика по лицу. Старик вскрикнул:

— За что вы, ваше благородие, за что?

— Не разговаривай, старая сука, молчать! В карцер его, отделенный! На трое суток!

Избитых увели.

Помощник сосчитал арестантов. Накричав еще, размахивая кулаками, тыкая в нос и угрожая, дико ругаясь, он, резко повернувшись, побежал наконец дальше.

Так мы встретили первое утро в Курске.

Настроение было у всех подавленное и тяжелое. Ложиться на нары до девяти часов вечера не разрешалось. Кипятку до семи часов не давали. Курить запрещалось. Есть было нечего. Разговаривать можно было только шопотом.

Мы собирались группами подальше от дверей и вполголоса беседовали. Говорили о прошлом, о детстве, о родине, о воле, о деревне. Здесь, в одном помещении были собраны и связаны почти одинаковой судьбой люди, разные по своему происхождению, по социальному положению, по профессии, по прошлому, по делам.

Как непохожи друг на друга Беспамятный и Бурштейн, цыган-конокрад и тихий перень Аверин, крестьянин Херсонской губернии, осужденный за побег с военной службы! Нищий «холодный» сапожник, босяк-профессионал, который поневоле сам лез на зиму в тюрьму, не имея нигде в мире ни своего угла, ни хоть какой-нибудь одежонки, чтобы прикрыть от холода свое тело, и бывший председатель общества взаимного кредита, коммерции советник, делец и хапуга, осужденный за миллионное мошенничество!

Как умно, значительно, приятно лицо Беспамятного, согретое внимательными и выразительными глазами. В отдельных словах и рассказах Беспамятного много жизненных наблюдений, знания людей, интересных замечаний, определений, сравнений и типичного крестьянского юмора. В его характере чувствуется внутреннее спокойствие, большая твердость воли, любопытство к людям, доброе отношение к ним и, как будто, сознание своей богатой жизненной эрудиции.

Какая тайна скрывалась в душе этого человека? Какое деяние совершил он, если предпочитал многие, длинные годы тюрьмы и страшных этапов раскрытию своего происхождения и фамилии?

Нельзя было узнать его профессии и того, что он делал и где жил до тюрьмы.

Знали только с его слов, что половина его жизни прошла в тюрьме, этапах, бегах, поселении и прятании от полиции.

А рядом — Бурштейн. Он потому и был нелеп рядом с Беспамятным, что являл собой во всем совершенную противоположность ему. Несомненно ограниченный, он был хитроват и плутоват.

Его семья жила в маленьком провинциальном городке и, может быть, даже не знала, чем он торгует, разъезжая вояжером по России. Он был исключительный семьянин и говорил о «жене и деточках» с такой нежностью, что сам себя расстраивал и начинал плакать.

— Верьте мне, месью Беспамятный, — рассказывал Бурштейн, — таких деточек, как мои, больше нет на свете! Старшая моя, чтоб она была здорова, в шестом классе, а младшенькая, чтоб она имела в жизни только то, что ей отец желает, младшенькая — в третьем. Так начальница говорит: «Месье Бурштейн, ваши дети идут на одни пятерки».

Привязанный всей душой к семье, не видя смысла жизни вне своей семьи, запуганный предстоящим судом и большим сроком тюрьмы, терзаемый беспокойством за судьбу семьи и

за позор, который он навлёк на себя, он буквально изнывал в тоске и отчаянии. Он ходил из угла в угол, не находя себе места. Обладая ограниченным запасом слов, не имея новых оборотов речи, он однообразно формулировал свое позднее раскаянье:

— Так я вас спрашиваю, кому это нужно было? Лучше торговать спичками на улице и зарабатывать четвертак в день и жить спокойно дома с женой и деточками, чем зарабатывать миллионы и сидеть в тюрьме. Верьте мне, как честному человеку, стоит продать последние штаны, лишь бы быть на свободе. Но, как говорит пословица: «от семьи и от тюрьмы не уйдешь!»

Так, перебирая своих соседей, я стал думать о цыгане-конокраде. Вернее о цыганенке, так как роста он был небольшого и с виду щупленький, как ребенок. Болезнь кишечника его окончательно доконала. Не видя его лица, а только фигуру, можно было думать, что это мальчик лет пятнадцати. Было жаль его, дрожащего от холода и болезни, когда он смотрел большими темнокарими глазами печально и униженно.

И это гроза деревни — конокрад!

Крестьяне, поймав конокрада или подозреваемого, доводили его, если не до могилы, то уж обязательно до больничной койки на долгий срок. Глядя на цыгана, на его маленькую и худенькую фигуру, я не мог понять, как это истерзанное, измученное тело ребенка могло выдержать тысячи ударов тяжелых мозолистых кулаков рассвирепевших мужиков.

Поймав конокрада, крестьяне, мстя за уведенных лошадей и непойманных конокрадов, всей деревней жестоко и беспощадно бьют его кулаками, подкованными каблуками, вожжами и оглоблями. Отбивают легкие, почки, выбивают зубы, ломают череп, руки и ноги.

Немецкие колонисты, жесточайшие собственники, с конокрадами расправляются еще более жестоко. Они привязывают пойманного к телеге и, погоняя лошадей, волокут его за собой в поле за много верст от деревни. Окровавленного, избитого, израненного, без сознания, его закапывают по пояс в землю и оставляют. Избивают и тех цыган, которые торгуют лошадьми или занимаются кузнечным делом и заходят по делу в деревню. Их всех считают в деревне конокрадами или скупщиками краденых лошадей.

Слушая рассказы цыгана, я представил себе всю его жизнь как беспрерывную цепь побоев, истязаний, лишений, голода, страха и полного бесправия. Любое дело о конокрадстве, не

найдя действительных виновников, «припаивали» цыганам, которые только «барышничали» или были медниками, т. е. занимались традиционным, переходящим у цыган из рода в род, делом.

На воле жизнь конокрада полна страхов, опасности, риска и постоянной нищеты. Отсутствие своего угла и возможности заняться не кражами, а иным делом, из-за преследования полиции, которая не выпустит из своих рук раз попавшегося в конокрадстве, не позволяет цыгану выйти из заколдованного круга своего прошлого и полицейских подозрений. И потому он обреченный.

Я познакомился с новым человеком в нашем разношерстном обществе, с высоким, плотным, хорошо одетым человеком, лет сорока пяти. Остроконечная темнорусая борода и длинные усы на полном упитанном лице, манера одеваться и весь облик его — создавали внешность не то средней руки помещика, не то владельца пивоваренного завода.

Оказался он управляющим большого имения. Он ничего не рассказывал о том, что его привело в тюрьму, очевидно избегая этой темы. Позднее, понимая, что не рассказать о своем деле значит выдать, что дело его «неприличного» свойства, он намекнул на политическую подкладку. Но это никак не соответствовало ни его наружности, ни его манере держать себя.

Меня удивило то, что с любой темы он переводил разговор на женщин.

— Вы не знаете, — говорил он, как много одиноких девушек. Они такие молоденькие, такие беззащитные; за них некому заступиться. Подумайте, кто заступится за девушку, если кто-нибудь ее преследует или оскорбляет? Никто.

Мне эти разговоры о бедных девушках показались странными, но то обстоятельство, что он был во всем остальном логичен, последователен и рассуждал здраво, лишало меня права предполагать неладное в его психике. Я окончательно успокоился, когда некоторое время беседы с ним велись на другие темы. Но мой новый знакомый снова свернул на свое.

— Особенно тяжело молоденьким евреичкам. Как их преследуют! Ужасно! Чтобы учиться в Петербурге или Москве, им нужно получить желтый билет... Подумайте, молоденькая девочка, совсем ребеночек, хочет учиться, приезжает в столицу — и вдруг, пожалуйте, возьмите желтый билет, будьте проституткой... Иначе — в двадцать четыре часа

с проходным свидетельством! Сколько таких девочек я спасал! В Ялте генерал Думбадзе их в двадцать четыре часа вон выгонял. Тогда много барышень у меня пряталось. Уже знали, что у меня можно ночевать, я всегда их у себя скрывал...

Он мечтательно задумался. Мне стало опять не по себе. Какая здесь драма? Какой эпизод в его жизни переключил все его чувства на нежность к беззащитным женщинам? Не оскорбил ли кто его сестру, дочь или близкую женщину, оставив на всю жизнь след в его душе?

Я вспомнил, что в камере есть несколько человек, пришедших вместе с Сикорским в Курск из одного города с ним. Разговорившись с ними, я узнал, что Сикорский осужден за растление собственной тринадцатилетней дочери. Когда преступление раскрылось, и Сикорский был арестован, на него посыпались десятки жалоб. На суде раскрылись жуткие истории, похожие все одна на другую. Он завлекал в свой дом лаской, добрыми словами, угощением девочек-подростков из огромного имения, где был полновластным хозяином в отсутствии помещика, и там совершал свои страшные дела. Не довольствуясь населением «подвластного» ему имения, он катал в экипаже девочек и девушек из соседних деревень и имений и завозил к себе отдохнуть.

Так просто раскрылась неприглядная тайна этого печальника за всех одиноких, беззащитных молоденьких девушек! Мне до этого не приходилось лично встречаться с живым и таким ярким персонажем из книги Крафт-Эбинга.

— В камере становилось все печальней. От трех часов утра, когда нас подняли свисток и визит дежурного помощника, до полудня время тянулось долго. Особенно тяжело это было потому, что все мы, пришедшие в тюрьму этой ночью, не спали и прошлую ночь. Нельзя было не только спать, но и прилечь и даже присесть. Мы начали по-настоящему страдать от голода. Простой и мудрый порядок, по которому в день прибытия в тюрьму пайка не выдавали, ставил арестантов в тяжелое положение. Семь копеек, полагающихся от конвоя, почему-то застряли у конвоя, и арестанты ничего в этот день не ели. Многие ходили от одного к другому «имущему» арестанту и выпрашивали хлеб, но чаще всего безуспешно.

Когда очень хочется есть, а есть нечего, лучше всего лечь. Помимо того, что в таком спокойном состоянии организм теряет минимум энергии, самое чувство голода несом-

ненно уменьшается и ощущается слабее. Здесь же и этим ничтожным благом нельзя было пользоваться. Лечь нельзя было, и мы слонялись из угла в угол бледные и слабые от бессонницы и голода.

Вдруг дверь в камеру с лязгом и шумом отворилась. Вошел надзиратель, огромного роста, неуклюжий и нескладный. На угрюмом и злобном лице выделялся огромный нос, широкие крепкие скулы и огромный, выдвинутый вперед, подбородок. При ходьбе у него подкашивались ноги, и он немного приседал, будто ноги не выдерживали тяжести тела. Длинные, как у гориллы, руки заканчивались совершенно дикими по размеру волосатыми кистями. Войдя в камеру, он остановился у дверей и крикнул:

— Кто здесь хорошо грамотный?

Сразу никто не отозвался. Грамотных было достаточно, хорошо грамотных мало.

— Чего же вы молчите, кто хорошо грамотный, выходи, писать будешь! Человека три-четыре!

Вышли два человека, остальные стали меня подталкивать.

— Иди, иди, ты хорошо грамотный. Наверное, из лавки хлеб от конвойных принимать. Иди, иди!

Надзиратель также пристал:

— Раз грамотный — выходи, чего же ты стоишь!

Подталкиваемый арестантами, я вышел. Мы направились по коридору в его дальний конец. Дойдя до конца, мы вошли в огромный тюремный клозет. В отвратительно грязном помещении вонь была совершенно невыносимой. Из-за неумелого и неправильного пользования внутренними уборными, они были загажены до последней степени.

Я выбежал в коридор. Вслед за мной остальные. Я обратился к надзирателю:

— Зачем вы нас привели сюда?

— Поскоблите маленько нужник! Да хорошенько! А то черви скоро заведутся!

— Я не буду чистить.

Остальные сначала молчали, потом один из них попросил чего-нибудь для чистки: лопаты, метлы, швабры.

— А руки на што? Уберешь и руками, не барин. Ну, айда, пока морды не набил!

Он стал нас подталкивать. Меня он толкнул кулаком в спину.

— Иди, говорят тебе, антилегент! Сильно грамотный! Почисть нужник, раз грамотный!

— Я не буду чистить! Убирайся к чорту! Не смей толкаться!

Надзиратель ударил меня по голове связкой тяжелых тюремных ключей. У меня пошли круги в глазах от боли и гнева. Не помня себя от бешенства, чувствуя, что я больше совершенно не владею собой, — я с силой ударил надзирателя кулаком в глаз. Не дав ему опомниться и инстинктивно чувствуя, что он схватится, за револьвер, я ударил его головой в подбородок и ногой в живот. От боли он схватился руками за живот и согнулся.

Я побежал по коридору и остановился у нашей камеры. Остальные двое остались возле надзирателя. Он бежал за мной и пронзительно свистел. Свист резко и гулко раздавался в коридоре. В одну минуту слетелись десятки надзирателей, а вслед за ними и дежурный помощник. Избитый надзиратель, размахивая огромным наганом, кричал:

— Напал на меня! Напал! Хотел убить!

Помощник, сначала ничего не понимая, кричал:

— Как попал в коридор! Как попал!

Видя безнадежность своего положения, боясь новых избиений, загнанный в угол, окруженный ватагой вооруженных и озлобленных людей, я выкрикивал бессмысленные слова и угрозы:

— Я не позволю драться! Я буду жаловаться! Я вам горло перегрызу. Я требую прокурора! Прокурора требую!

Помощник стал подходить ко мне ближе. Я попятился, но, упершись в стенку, остановился. И в тот же миг получил удар кулаком в голову, выше уха. У меня зазвенело в ушах, в глазах опять завертелись огненные кольца и рассыпались мелкими звездами. Я на секунду застыл и получил второй удар с другой стороны. Я схватился руками за голову, но вдруг в отчаянии, понимая, что здесь я погибну, в одно кратчайшее мгновение восстановив все, что говорили о Курске, бросился вперед с кулаками на помощника, но десятки рук меня схватили и потащили по полу коридора.

Меня протащили по коридору, затем по лестницам и бросили в конце какого-то темного тупика. Я вскочил на ноги, но ударом ноги в спину был опять опрокинут. Ударил меня ногой помощник. Видно, опасаясь почувствовать на себе участь надзирателя, он боялся близко подойти ко мне. Я резко повернулся к нему и пытался вскочить, но на меня набросилась вся ватага и начала бить.

Помню, что я свернулся на полу так, чтобы удары приходились по ногам и спине, и старался спрятать лицо, боясь уродства. Озверевшие надзиратели били кулаками, сапогами, ножнами. Собравшись клубком, я вдруг развернулся и ногами всей силой ударил кого-то по ногам, и тот упал. Я слышал, как помощник издали заорал:

— Довольно, хватит!

Но кто-то, на прощанье, ударил меня не то кулаком, не то сапогом по темени. В голове у меня что-то заклокотало, потом потемнело и затуманилось. Я потерял сознание.

Очнулся я в темноте от острой боли в спине на холодном полу. Разогнуться я не мог, так как каждое движение вызывало мучительную боль. Холод пола становился невыносимым, и я не мог больше лежать, но подняться было невозможно. С тяжким трудом, страдая от боли во всем теле, я присел. К голове, украшенной шишкой и кровоподтеками, нельзя было дотронуться. Нос распух и был липкий от присохшей крови. Рассеченная нижняя губа вздулась.

Сделав с трудом движение рукой, я почувствовал тошноту и холодок у сердца. Напрягая последние силы, я дополз до стены и вдоль стены до угла. Меня вырвало желчью.

Отползши опять к середине, не имея сил сидеть, я упал и заснул.

Так я провел первый день в курской тюрьме. Но до конца дня было далеко. Да и как узнать, когда окончится день и начнется ночь?

Здесь ночь длилась круглые сутки.

Я проснулся и опять, как при прошлом пробуждении, не мог понять, где я и что со мной. Боль во всем теле, особенно в спине, тяжесть в голове и застывшие руки и ноги доставляли тяжелые страданья. Хотелось пить, во рту и в горле пересохло, в голове жгло и горело.

В карцере было темно, холодно и сыро. Нужно было найти местечко, где можно было бы согреться, укрыться от сырости или удобно улечься. Это можно было сделать только ощупью, ползая с вытянутой вперед рукой, чтобы сразмаху не наткнуться на стенку. Выяснив расположение карцера, я принужден был вернуться на середину, так как вдали от стен, мокрых углов и параши оказалось все же лучше.

Сквозь боль и страдания тела с особой силой давал себя чувствовать голод.

Я хотел есть!

Но надежд на хлеб не было. Была, очевидно, ночь. Кто теперь даст хлеба? Я решил стучать в дверь и вызвать фельдшера, чтобы он отправил меня в больницу. Или пусть дадут шинель, хлеб и воду.

Я постучал сначала тихо, потом громко. Никто не приходил. Я стал стучать, насколько позволяли силы. Ответа не было. Так прошло, очевидно, много часов, в течение которых я вперемежку то ходил из конца в конец карцера, то ложился обессиленный на пол, чтобы через несколько минут, в отчаяньи, опять вскочить.

Вдруг у двери завозились, застучали и, наконец, ее отворили. В коридоре, в сравнении с карцером, было светло. В дверях стоял надзиратель, за ним коридорный арестант с куском хлеба и кувшином воды.

На мое требование вызвать фельдшера и принести шинель он ответил:

— Ладно, все будет.

И ушел.

Он снова пришел только через сутки, чтобы принести хлеб, воду, переменить парашу и сказать:

— Ладно.

Так прошло много томительных, тоскливых голодных часов, в течение которых нельзя было ни заснуть, ни посидеть, ни полежать.

Тяжелая, физически ощущаемая пустота и безысходность нахлынули на меня.

Я жалел о возвращении из-за границы, чтобы, отслужив, иметь возможность жить в России. После Парижа, Кельна, Берлина, после Лувра, Люксембурга — сборный пункт, воинский начальник, пьяные новобранцы, этапы, конвой, мордобитие, голод, семикопеечный паек, карцер и впереди — военная служба. Зачем я это сделал!

Если бы мои родители знали, какие прелести меня ждут в России, они так горько не печалились бы при моем отъезде за границу, боясь вечной разлуки.

Да, родители... Сколько нежности, ласки, забот, бессонных ночей! Здоровье, питание, воспитанье, школа, будущность — обо всем так много мыслей, хлопот, беспокойства! Сколько жизни, покоя и личного счастья — детям!

Поневоле перенесясь мечтой в прошлое, в далекое детство, в лучшую, единственно хорошую пору жизни, я вспоминал чудесные летние дни на золотом и горячем песке на берегу Азовского моря в Мариуполе.

Горячее солнце, обжигающий песок и свежие зеленые волны, из которых мы, мальчишки, часами не вылезали!

А катанье на лодке по реке Кальчик или Кальмиус! Мы разгоняли лодку поперек реки и сразмаху влетали в камыши, растущие у противоположного к городу берега.

Здесь уже начиналась область войска Донского. Взрослые нам рассказывали, что здесь, на реке Калке, как в старину называлась река, была знаменитая битва с татарами. Рассказы о том, что и теперь можно здесь найти древнее вооружение: пики, кривые сабли, шлемы и кольчуги, вызывали весь романтизм юного сердца и волновали чрезвычайно.

А катанье с отцом на яхте, а поездка на пароходе по Азовскому и Черному морям! А покровская ярмарка, с цирками, панорамами, каруселями, перекидками и мороженым! А выгрузка с французского парохода марсельской черепицы в порту, где отец служил заведующим черепичным складом!

Сколько очаровательных, прекрасных воспоминаний светлого далекого детства, неповторимых ребяческих радостей, неповторимых лет...

А потом юность и мечты о борьбе с жестокостью и насилием за свободу и счастье!..

Я пробыл в карцере пять суток. Глаза, отвыкшие от света, невольно щурились и слезились. Бурштейн, желтый и обросший, заплакал, увидев меня, а Беспамятный ласково, по-братски похлопывал по плечу:

— Молодец, парень, ей богу! Вот молодец! Погоди, брат, мы с тобой еще поживем!

И еще раз похлопал меня по плечу и спине.

Бурштейн сказал мне:

— Поверьте мне, — как человеку жить хочется, так я хотел увидеть вас живым и здоровым. Чтоб я так был здоров.

Потом, с ужасом разглядывая меня, рассказывал, что глаза и щеки у меня провалились, что желтое и грязное мое лицо покрыто синяками и пятнами. Когда я разделся, он увидел на всем теле, особенно на спине и руках, огромные синяки и кровоподтеки.

Даже Сикорский был видимо рад и радушно угощал меня вкусной колбасой и булкой.

Хотелось спать или хоть полежать на нарах. Однако меня предупредили, что я рискую вернуться в карцер, если лягу.

Так мне и не пришлось лечь. В ту же ночь мы ушли из Курска.

В конторе тюрьмы, когда нас принял новый конвой и мы были уже вне власти курского начальства, я, увидев помощника, избивавшего меня, не выдержал и крикнул:

— Погоди, сволочь, кто-нибудь сорвет тебе башку!

Длинная дорога к вокзалу, по холодному воздуху, была освежающей и бодрящей. Хотелось, чтобы эта темная дорога долго не кончалась, несмотря на усталость, боль в теле и ручные кандалы.

И вот снова тесный, душный и вонючий вагон, снова неподвижное сиденье и снова невозможность прилечь, вытянуть ноги и отдохнуть.

Конвой оказался гораздо мягче и человечней харьковского. Брань не висела над нами, разговаривать не запрещалось, и не было той атмосферы жестокости и хамства, отличавшей прошлый конвой и последнюю тюрьму. Можно было всласть наговориться. Хриплый и сонный голос рассказывал новым арестантам:

— Новохоперские мы... Потом, значится, нас переселили оттелева... Нда... Ну, он, конешное дело, старикан крепкий... Нда...

Беспамятному особенно отравляла жизнь надоевшая история про снохача. Он стал просить рассказчика:

— Ну, ты, новохоперский, брось ты эту канитель! Брось, говорю, надоел. На, скрути цыгарку, только замолчи!

Новохоперский охотно пошел на эту комбинацию. Бурштейн снова мог отвести свою наболевшую душу. Все мысли о семье и будущем, остававшиеся невысказанными столько дней, теперь вырвались в длинном потоке слов и восклицаний. Он говорил снова о детях, о гимназии, о позоре, о суде и нужде и, волнуясь, не замечал повторений и нелепых фраз.

— Когда бог хочет наказать человека, так он велит ему торговать медикаментами. В самом деле, почему медикаменты? Есть бакалея! Есть галантерея!! Есть кожа, табак, бумага!! Мало ли что есть! Так нет, обязательно, медикаменты!

Беспамятный возражал ему:

— Брось, Боря, вон цыган конями торговал, да все равно сюда попал.

Цыган, при напоминании о лошадях, оживился. Он стал рассказывать о кражах, покупках и продажах лошадей.

— Мы када прадавать будэм, всяка коняка хороша. У нас срэдствей такой есть — совсэм безногий коняка побежит! А завтра здохнет. Беспремэнно здохнет!

У него заблестели глаза, и появился румянец на щеках, словно вспомнились ему счастливые дни прекрасной юности.

Вокруг нас, заинтересованные рассказами, собрались конвойные. Один из них, мрачный и степенный, медленно произнося слова, заметил в ответ на слова цыгана:

— Вот за это вашего брата и надо крепче сажать. Басурманы чортовы! Мужик последние гроши за коня отдает, а конь завтра «беспременно здохнет»! А мужику, значит, помирать?.. Или по миру итти?..

— Мы не басурманы, мы православные.

— Таких православных надо в прорубь спускать. Мы, вот, тоже по этой дороге цыган возили. Конокрады, так они, окаянные, чего сделали! Ночью коней из села увели. За ними погоня. Они в стороне от дороги спрятались. А один жеребец начал ржать. Они ему мешок на голову. Да туго завязали, или чего туда положили. Жеребец-то и задохнулся и околел. Их когда поймали, он и лежит околевший. Ни себе, ни людям!

Цыган снова увял.

Долго еще рассказывали арестанты и конвойные о кражах в деревнях, о конокрадах, о разбойниках.

Бурштейн также рассказал случай кражи у него часов и денег.

— Я жил тогда в Киеве. Еду в трамвае. Возле меня стоит несколько молодых людей. У всех такие симпатичные, знаете ли, интеллигентные лица. Хорошо. Когда мы стали выходить из вагона, все стали толкаться, а молодые люди тоже меня сдавили со всех сторон. Я спрашиваю: «Что вы толкаетесь?» Они отвечают: «Нас толкают, и мы толкаем». Так мы вышли. Только я прошел несколько шагов, смотрю — у меня жилет весь расстегнут! Я испугался и схватился за карман — нет бумажника! Украли бумажник с двумястами рублей! Вы же можете понять, что переживает человек, когда у него украли 200 рублей. Но головой обуха не перешибешь! Время прошло, и все забылось. Вдруг, однажды, я иду по Крещатику и вижу одного молодого человека, очень похожего на одного из тех молодых людей, которые меня толкали. И, знаете, такое симпатичное лицо — написанный красавец. Я побежал за ним. Он вошел в вагон трамвая. Я за ним. Смотрю ему прямо в глаза. Он мне. Я долго ему смотрю прямо

в глаза, пока он меня спрашивает: «Что вы смотрите мне прямо в глаза?» Я ему отвечаю: «Что-то мне очень знакомо ваше лицо». Он мне отвечает: «Может быть! Мне тоже очень знакомо ваше лицо». Вдруг он мне говорит: «До свиданья» и быстро на ходу выскакивает из вагона. Я думаю: это-таки — он: он испугался и убежал; трус паршивый! Так как я напрасно потерял время, я хотел посмотреть, который час. «Хватаюсь за часы — моих часов нет! Золотые часы «Лонжин»! Вместе с цепочкой! Пока я ему смотрел в глаза, а он мне обратно, он вытащил мои часы... Вы знаете, что я вам скажу? Таким работникам надо руки целовать! Чтоб я так жил! Это же редкая работа!

Арестанты захохотали. Конвойные снисходительно и сдержанно улыбались.

Со сном бороться совершенно невозможно. Человек, который не спал трое-пятеро суток, теряет возможность передвигаться и мыслить. И если тело механически продолжает действовать, то мысль приобретает оттенок ненормальности и моментами имеет бредовой характер. Я видел людей, не спавших двое-трое суток и засыпавших стоя, опершись о столб или забор. Я видел в походе людей, которые, при минутной остановке полка, падали на землю и засыпали. Поднимать их надо было ударом приклада или ставить на ноги и поддерживать до тех пор, пока они не «разойдутся».

Я не спал уже несколько дней. В мозгу шевелились, как оборванные нити, остатки воспоминаний и обрывки сознания действительности. Вместо человеческих лиц возникали незнакомые звериные маски, расплывающиеся в тумане морды чудовищ и неясные очертания предметов. И короткий сон и частые пробуждения были как тяжкий кошмар или больной бред... И звуки доходили до сознания, как удары по голове...

Нужен был сон. Нужен был отдых мышцам, нервам и мозгу, но ни лечь ни уснуть нельзя было...

Я не помню Пензы. В памяти не осталось ничего, что вызвало бы представление о пребывании в этом городе. Были ли мы в тюрьме, передал ли нас просто один конвой другому, перешли ли мы в другой вагон, или оставались в старом — ничего не помню. Знаю, что из Курска мы ехали в Пензу, оттуда в Самару.

Самарская тюрьма, после всего пережитого, показалась нам всем отдыхом и покоем. Огромные камеры, крашеные полы, электрическое освещение, чистые уборные. Нас заставляли

много раз в день мыть полы, но эта работа не была неприятной, и многие делали ее с удовольствием.

Я заснул и долго, очевидно, спал. Меня разбудили, когда давали обед. Сведения, которые нам сообщил в киевской тюрьме один из пересыльных, о горохе к обеду — были верны. Эта редкая в России тюрьма, чистая, светлая, была еще и тем хороша, что в ней кормили, как нигде больше в другой тюрьме. Правда, что горох на второе давали только два раза в неделю, но и остальное было таким, что, не в пример пище в других тюрьмах, все можно было есть без отвращения.

Горячей пищи я давно не ел. В киевской тюрьме, как только вносили в коридор ведра со щами, разносилась тяжелая вонь. Там пищу готовили принципиально из несвежих продуктов. «Продукты»! Это, пожалуй, громко звучит! Это слово может создать преувеличенное представление о пище арестанта в царской тюрьме. Арестанту полагалось семь копеек в сутки. Из этих денег надо же было и начальству чего-нибудь уделить. Никто, надо думать, не возьмется утверждать, что начальники тюрем в те времена были чисты и непорочны. Если считать, что на начальство малая толика уходила, и на хлеб уходило три копейки, то на остальные надо было дать «обед» и «ужин». Обычно в тюрьмах давали два раза в неделю постные обеды, а в остальные дни — мясные. «Мясное» заключалось в том, что в котел бросали несколько бычьих голов. Поэтому, когда садилось семь человек за бачок с водянистыми щами, семь ложек гонялись за одинокой «крошенкой». Арестанты обычно шутили:

— Разденься и нырни — иначе не поймаешь!

— Ну, ее только водолаз поймает!

— Сегодня, кажись, кари очи попались!

На самарскую пищу арестанты набросились с звериной жадностью, но, увы, пищи было мало, и скоро, слишком скоро, вокруг бачка стояли грустные едоки и облизывали ложки. Все остались голодны и поневоле утешились тем, что можно было полежать безнаказанно на нарах и вытянуть ноги.

После прогулки, пока дверь камеры оставалась открытой, в камеру быстро вошел один из пересыльных из соседней камеры, по внешности явно «политический». Быстро направившись ко мне, он передал мне пакет и записку и так же быстро ушел. В записке писалось, что по лицу моему видно, что я голоден и истощен, поэтому мне посылают «подмогу». В пакете были: чай, сахар, колбаса, масло и булки. Я был

крайне тронут таким вниманием и удивлен зоркости чьих-то глаз, выловивших меня в толпе одинаково-серых и однообразных людей. Беспамятный по этому поводу заметил:

— Благородные благородных всегда заметят!

На что Бурштейн немедленно откликнулся:

— Рыбак рыбака увидит с потолка!

В этой тюрьме бродяг было гораздо больше, чем в предыдущих, так как мы приближались к Челябинску, где обычно собирались все проходящие в Сибирь этапы. Самарская тюрьма была как бы преддверием сибирских тюрем.

Здесь Беспамятный встретил старых знакомых из бродяг. Говорили они на своем особом жаргоне, отличном от блатного, употребляя слова, неслыханные даже в тюрьмах и среди воров. Это была смесь тюремно-воровского жаргона со словечками «чалдонов», жителей Сибири из ссыльных и бывших каторжан. Говорили они тихо, спокойно и деловито. Собравшись в группу и беседуя, они своей солидной и степенной манерой, сдержанностью и немногословием производили впечатление не бродяг и арестантов, а собравшихся на богатом постоялом дворе прасолов, деревенских скотопромышленников или купцов. Это впечатление особенно усиливалось, когда они пили чай. Чаепитие было делом не только удовлетворения жажды или запиванием еды. Так друзья, встретившись, подолгу, часами сидят за бутылкой вина, которое может быть совсем невкусно, кисло и неинтересно, но под которое так сладко и тепло течет дружеская беседа, воспоминания о прошлом, мечты о будущем, жалобы на настоящее. Они пили чай, как народы Востока курят кальян, как религиозные бездельники перебирают четки, как китайцы в тайных притонах или у себя в домах, разлегшись на коврах и подушках, курят опий или гашиш. Как евреи, даже самые бедные, справляя субботнюю трапезу, сидя за «праздничным» столом, на котором лежит крохотный кусочек рыбы и ломтик «халы», долго и упоенно проводят не столько религиозную, сколько традиционную процедуру еды.

Пили подолгу — по десятку кружек, потели, снимали бушлаты, расстегивали ворот рубашки, вытирали пот большими платками или полотенцами, бегали «до ветру», возвращались и снова пили. А под чай лилась беседа, вспоминали старые остроги, розги, побеги, места поселений, сибирские села. Говорили с сожалением о погибших друзьях, завидовали тем, кто хорошо устроился, разбогател, обзавелся семьей, домом, хозяйством.

Иные из старых уголовных каторжан, окончив срок пребывания в тюрьме и срок поселения, обосновавшись в богатом селе и начав торговое дело, барышничая, имея лавку или постоялый двор, достигали богатств и жили весьма хозяйственно. Такие богатые «чалдоны» были, конечно, всегда объектами зависти и скрытого преклонения среди неудачливых, не могущих всю жизнь вырваться из цепей тюрьмы, этапов, подозрений, арестов и неудач, старых бродяг.

В России, в те годы, всегда было в ссылке и на поселении свыше трехсот тысяч человек. С наступлением первого весеннего тепла одна треть этой огромной армии бывала в бегах. Очень немногие из них, умелые и удачливые, уходили «в Россию», иные умели устраиваться в Сибири, но все остальные, пользуясь теплым летом и гостеприимством тайги, бродили огромными толпами, добывая себе пропитание охотой, и часто выходили из тайги на дорогу и заходили в селения, промышляя кражами и грабежами.

Хозяйственные «чалдоны», имевшие всегда славу беспощадных собственников, жесточайших кулаков и коварных предателей своих бывших друзей, охотились на беглецов, не успевших укрыться в тайге. Вооруженные с головы до ног, они выезжали верхом и на подводах, организовывали засады, устраивали настоящие большие облавы и разбойничьим образом, жестоко и злобно убивали несчастных. Брали также живых, сколько могли, сдавали их властям, получая установленную за каждого пойманного беглеца плату. Власти, конечно, все это благословляли, имея в лице добровольных охранителей порядка, верных и надежных помощников.

Вообще хозяйственные и, особенно, богатые чалдоны пользовались большой дружбой и покровительством начальства, которое, конечно, в свою очередь, никак уж не было обижено опекаемым им населением. О чалдонах я не слышал другого мнения, даже от них самих, как о людях злых, кровожадных, нечистых на руку и всегда готовых на преступление. Довольно обычным явлением бывали случаи ограблений и убийств останавливающихся у чалдонов проезжих купцов и других людей, о которых предполагалось, что у них есть деньги. Алчность чалдонов, даже таких, у которых было уже достаточно средств, чтобы безбедно прожить всю жизнь, доходила до необычайных размеров. Если к ним попадал беглец, имеющий деньги, то его охраняли, кормили, поили, отвозили дальше на своих лошадях, — только бы вырвать у него побольше денег.

С наступлением зимних холодов «вольное царство» беглецов кончалось. Многие толпами приходили в города, прямо в тюрьмы, где они могли найти кров и кусок хлеба, для чего заявляли о беспаспортности и открывали свое имя лишь с наступлением весны. Многие, менее влекомые тюремным уютом, также толпами врывались в селения и грабили села, часто вступая в форменные бои с чалдонами; иные одиночками и группами бродили по деревне, выпрашивая кусок хлеба, но чаще всего, подозреваемые в злых намерениях, погибали или попадали в руки властей. Когда же наступали морозы, то на всех больших и малых дорогах, на проселках, на окраинах селений, иногда даже во дворах крестьянских домов — находили замерзшие трупы погибших от голода, холода и отсутствия одежды несчастных беглецов. Их насчитывали по Сибири тысячами. А сколько их погибало в тайге?

Я слушал воспоминания старых бродяг, составляя себе из их коротких, отрывистых, нескладных рассказов некоторое представление о жизни тюрьмы, каторги, поселения и ссылки. О своей личной жизни, о совершенных ими преступлениях они рассказывали мало, скупо и неохотно, потому что чаще всего скрывали свое прошлое. Несомненно каждый из них хранил какую-нибудь тайну, скрывая тяжкое, может быть кровавое преступление или даже целую сеть преступлений.

Рассказывая иногда о других бродягах, неизвестно где сейчас находящихся, арестанты сообщали о таких жутких, кровожадных и необъяснимо жестоких преступлениях, что даже видавшие виды и сами имевшие «мокрые» дела арестанты подавали при рассказах укоризненные реплики и реагировали на эти рассказы явно отрицательно. Нормальному же человеку с трудом верилось в возможность таких жестоких, нечеловеческих злодейств.

Убийцы, которых среди бродяг было много, не рассказывали о своих преступлениях и не любили, когда другие это делали, строго останавливая рассказчиков.

Одного такого рассказчика Беспамятный пытался дважды остановить, но тот с явным удовольствием, смакуя подробности, восстанавливая ненужные мелочи и особенно выделяя страдания жертв, все-таки рассказал о случае, когда он, в компании с тремя приятелями, напал ночью на дом богатого священника.

— Я говорю ему:

«— Батя, говори, где деньги?

«— Нету, — говорит, — у меня денег.

«— Говори, батя, где деньги, на куски тебя изрежем а деньги достанем.

«А мы-то знали хорошо, что деньги есть, только здорово запрятаны. Дело ведь было дадено евонным человеком, дело значит верное. А батька скупой: сдохнет, а денег не даст. Дал я ему ногой под ложечку, а он ни тпру, ни ну — раскрыл рот, не дышит.

«— Где деньги? — Молчит. Стоит в одном белье, дрожит, весь синий, глаза выпучил и молчит. Я говорю ему:

«— Смотри, батька, кожу буду с тебя снимать, лучше говори — где деньги? — Молчит.

«А попадью в другой комнате наши спрашивают. Тоже, стерва, молчит. Я кричу им:

«— Давайте ее сюда, пусть смотрит, как батьке пятки жечь будем.

«Притащили ее, на ней рубашку порвали, совсем голая. Батьку на скамейку положили, привязали и давай свечкой пятки жечь. Как закричит батька! Ему мурло закрыли и опять жечь.

«— Где деньги?

«— Нету.

«Опять за пятки. Кожа шипит, воняет, батя вырывается, матушка на кровати барахтается, ей морду подушкой закрыли и тискают ее — она баба здоровая, толстая. Что с ними не делаешь, ничего не говорят. И бороду сожгли, и волосы из гривы повыдирали, и матушку все по очереди на евонных глазах перетискали — нету денег. И дом весь перерыли, все перевернули — ничего не нашли. Так и ушли. Его обухом по башке двинули, а ее подушкой придушили. А взяли только барахлишко — часы, браслет, кольца — и все...

— А зачем же вы их убили?

— А как же, чтобы потом не опознали! Обязательно. Ежели ты его в доску не пришьешь, — потом тебя опознает. Пришить надо — иначе нельзя. Их пощадишь, не пришьешь, а они же тебя обязательно утопят.

По этой же причине они убивали всех, включая маленьких детей, оставляя только грудных. Мне рассказали тут же, в доказательство необходимости «со всеми прикончить», что однажды, перерезав всю семью, они оставили в живых четырехлетнего мальчика.

Когда ребенку потом на суде показали убийц, он немедленно узнал их в толпе других и категорически заявил:

— Эти дяди папку и мамку ножом резали.

Вот почему простая, неопровержимая логика и последовательность в действиях приводила к необходимости при грабеже никого не оставлять в живых, кроме грудных детей. Так и делали.

Долго еще мне рассказывали, в подтверждение правильности такого взгляда, истории фантастической, невообразимой жестокости, объясняемой, по словам рассказчиков, только необходимостью спасать собственную шкуру.

На одном хуторе шайка разбойников вырезала всю семью: хозяев, их старых родителей, батраков, работниц и детей — всего двенадцать человек. Ограбив все, что могли, перед уходом не сразу решились покончить с таким большим количеством беззащитных людей, но, посоветовавшись, решили, что оставить их так нельзя, и всех двенадцать человек, связанных по рукам и ногам, лежащих на полу с заткнутыми в рот тряпками, всех, от стариков до крохотных детей, деловито и методично перерезали.

В другом случае, убив двух человек, хозяев дома, разбойники, уходя, вдруг услышали плач ребенка. Обернувшись, они увидели проснувшегося и сидящего в кровати ребенка лет пяти-шести. Пришлось вернуться и зарезать ребенка.

Все это рассказывалось просто, в доказательство того, что иначе нельзя было.

Бурштейн, потрясенный рассказами, заговорил:

— Боже мой, боже мой! Не может быть, это не может быть... чтобы маленьких детей... убивали! Это же кошмар! Это же ужас! Это же не может быть!

Беспамятный, спокойный, как всегда, ответил ему:

— Все может быть. Все может быть!.. Это все пустяки. Еще хуже может быть!

И, обернувшись в сторону, где сидел маститый растлитель, спросил:

— Что, верно я говорю, господин Сикорский? Бывает еще хуже, чем резать детей? А?

Сикорский, смущенный и испуганный неожиданным вопросом, покраснел, растерялся, потом ответил:

— Да, ужасов на свете много... это верно.

А Бурштейн, все еще взволнованный рассказом, возбужденно повторял:

— Боже мой, боже мой, убить ребенка! Каким образом можно убить ребенка?!

— Да не образом! Это, может, евреи образом убивают, а православные обнаковенным ножом.

Я слышал от многих арестантов сотни рассказов о кражах, грабежах, разбоях, убийствах и давно привык к ним, но все же никогда не мог постичь и объяснить себе беспредельную, неизмеримую жестокость человека к человеку; я не мог понять, как может человек всадить нож в сердце другому человеку или размозжить топором голову, или зарезать ребенка. Мне были близки и понятны возмущение и недоумение Бурштейна:

«Как можно убить ребенка?»

За один этот день я услышал столько кровавых рассказов, предо мной прошло столько эпизодов разбойничьей жестокости, в воображении встало столько изувеченных жертв этих повестей, что мое нервное восприятие совсем притупилось, и слова о крови и смерти стали восприниматься просто и спокойно, как будто это было естественно и обычно.

В нашей камере оказался один арестант чрезвычайно редкой блатной квалификации. Мне эта «специальность» была уже известна по давней встрече в другой тюрьме, с другим таким же «работником».

Это был «гилочник».

Работают «гилочники» вдвоем. Один из них, подойдя сзади к одиноко идущему по темной улице человеку, хватает его правой рукой за шею таким образом, чтобы вся рука приходилась вокруг шеи, а кулак, особенно большой палец, упирался бы в горло. Вдавив сколько можно кулак в горло, гилочник приподнимает жертву от земли, упирая свою грудь в его спину. Жертва теряет возможность дышать. В это время второй гилочник с силой ударяет камнем или кулаком жертву «под вздох». Человек сразу теряет сознание минут на десять-пятнадцать, а за это время его догола раздевают и все спокойно уносят. Если гилочник «засыпался», то за такую работу он получал пять лет арестантских рот.

Первый гилочник, которого я знал, был Яшка-Дикарь, работавший «на пару» с собственной женой.

Он брал на «гилку», а жена ударяла камнем «под вздох».

Яшка-Дикарь был небольшого роста, широкоплечий и приземистый здоровяк, так что попавший к нему «на гилку» уже не мог вырваться, как не может вырваться самый сильный зверь из хорошо устроенного капкана. Об одном только случае рассказывал Яшка, как он сам пострадал при попытке

взять на гилку, да и то, мне кажется, рассказывал он это в шутку. Яшка, выследив поздно ночью жертву, подошел к ней вплотную и взял на гилку, но в тот же момент сам взлетел на воздух и, перелетев через спину «жертвы», брякнулся на землю. Оказалось, что «жертва» был борец, возвращавшийся из цирка. На прощанье Яшка получил пару подзатыльников.

Теперь в самарской тюрьме я встретил такого же «квалифицированного работника», работавшего обычно в районе Волги. Оказалось, что Яшку-Дикаря он хорошо знал, хотя только по наслышке, и считал его одним из лучших «гилочников» в России по способностям и стажу.

В этой же тюрьме наш цыганенок встретил земляка цыгана-конокрада. Меня этот цыган поразил системой «автолечения» и выносливостью своего организма. Страдая малярией, он возил с собой мешок украденной хины, количеством не меньше двух фунтов. Принимал он хину совершенно невероятными дозами. Он становился на колени, давал кому-нибудь из арестантов ком хины, размером с большой орех, который ему сразмаху вбрасывали в горло, для чего он широко раскрывал рот, задирая лицо вверх. Такая техника приема лекарства была придумана для того, чтобы избежать горечи большого количества хины. После этого он запивал лекарство глотком воды и говорил, что «живет на свете» только благодаря такому способу лечения.

В самарской тюрьме мы пробыли несколько дней. Еды было мало и приходилось основательно недоедать. Последние недели голодания, отсутствие чистого воздуха, движений, нормального сна, тяжелые физические и душевные переживания, вши, побои и карцер подорвали мое здоровье, — у меня образовалось острое малокровие, начались головокружения и мигрени. На теле появились фурункулы. Их нечем было перевязывать. Мази и бинтов не было. Достаточно было немного посидеть или полежать, чтобы фурункулы прилипали к белью и, затем, при первом движении, отрывались от него. Все мои требования вызвать врача или фельдшера кончались ничем.

Позже, по дороге в Челябинск, и дальше, в вагоне, моя болезнь заметно ухудшилась. Ноги от щиколоток до бедер сплошь покрылись фурункулами, местами сливаясь в сплошную коросту. Еще мучительнее было ощущение склеенности и связанности мышц и кожи, как будто все тело густо смазали столярным клеем и дали ему просохнуть. Каждое движение,

даже самое неуловимое, разрывая присохшие корки, вызывало острые боли, как от уколов сотен иголок. Белье покрывалось засохшим гноем.

Устроившись кое-как на скамейке, я старался подолгу лежать без движенья, не шелохнувшись, но жесткая скамья заставляла менять положение тела, и каждый раз это стоило мне многих минут резкой, рвущей боли. На больших станциях я умолял конвойных взять в приемном покое побольше бинтов и мази, но каждый раз получал только крохотный бинтик.

Группа политических, которая прислала мне еду и записку в самарской тюрьме, продолжала путешествовать с нами, но находилась в вагоне в изолированном отделении.

Зная о моей болезни, они всячески пытались помочь мне, но дать мне белья они не могли, так как сами ехали в каторжную тюрьму в казенном белье и одежде.

И только в омской тюрьме меня, после настойчивых требований, повели в больницу. Здесь, когда я разделся и показал фельдшеру тело, тот, едва взглянув на меня, обернувшись к другому фельдшеру, отрывисто бросил:

— Луэс!

Этот исчерпывающий диагноз, категорически поставленный фельдшером, взорвал меня. Я крикнул:

— Послушайте, господин фельдшер, я думаю, что даже более опытные и знающие врачи-специалисты никогда не осмелятся так решительно, без какого бы то ни было исследования ставить такие диагнозы! У меня не луэс, а фурункулез. Дайте побольше мази и бинтов. Больше мне ничего от вас не надо.

Фельдшер был мною, конечно, страшно возмущен:

— Ты меня не учи! Знаю я без тебя, что надо делать! Ишь ты, ученый какой!

Но мазь и бинты мне дали, и я забинтовал ноги, однако болезни этим, конечно, ни в какой степени не уменьшил, а только нашел некоторое успокоение на несколько дней.

С Бурштейном мы расстались в Челябинске. Он искренно ко мне привязался и, прослезившись, прощаясь со мной, говорил, что я ему «как брат родной», что он меня никогда не забудет, дал свой адрес, просил писать его семье и узнавать о нем и его судьбе.

Будущее его очень пугало. Я доказывал ему, что его отпустят, но он был мрачен и мало верил в слова утешения. На мои уверения, что в его деле нет оснований для строгого приговора, он отвечал:

— Да, но вы сами знаете: «Пуганая ворона на молоко дует».

Цыган и Сикорский остались в Самаре. Из старых знакомых со мной шел дальше в Сибирь только Беспамятный.

В Омске, когда я больной лежал на нарах, он сидел возле меня. Сворачивая одну папиросу за другой, Беспамятный рассказал мне о страшной житейской драме, свидетелем которой он якобы был. Из манеры рассказывать, по тону его речи, по другим, едва уловимым мелочам я понял, что Беспамятный рассказывает о себе, восстанавливая трагический эпизод из своей сложной, запутанной и бурной жизни.

— Был у меня приятель. Давно уже вольный был. Хозяйство завел, скотом торговал. Ездил по деревням, скупал скотину, а потом в городе сдавал. А в город как приедет, деньги получит,—так гулять начинает.

«Гуляет неделю, гуляет две. Компанию соберет — всех кормит, поит — ешь, пей, не жалко! Баб очень любил... Баб тоже толпой собирал... Гармонистов нанимал, балалаечников. Они играют, бабы пляшут. Он и сам плясал хорошо. Сибиряки все плясать умеют, особенно чалдоны.

«Погуляет, поскандалит, мошну облегчит — опять домой в село, да по деревням за скотом.

«Только здесь вышла у него нехорошая история...

Беспамятный глубоко затянулся и стряхнул с бушлата табак.

— Баба одна пришлась ему по вкусу... Так прилип, что не отстать никак. А баба действительно была больно хороша!.. Здоровая, красивая, высокая. Глаза голубые, волосы русые — из казачек донских. Но гулящая была... В его компании часто гуляла, и с другими ходила. Ну, словом, жила этим: за деньги гуляла...

«Уедет парень после гулянья, а душа неспокойна. Все назад тянет, все Груша в глазах стоит, не забыть ее никак. А как вспомнит, что она сейчас с другими гуляет, совсем бешеным станет! Дела своего не сделает — обратно в город едет. А Груше — что! Ей бы только погулять, поплясать да денег побольше содрать.

«Задумался парень, затосковал да и решил:

«— Едем, Груша, ко мне! Хозяйкой будешь! Село у нас богатое, народ хороший, дом новый, хозяйство доброе. Хорошо будешь жить, спокойно! Что у тебя здесь за жизнь — пропадешь ни за что!..

«Поломалась сначала Груша, дурака поваляла, а потом согласилась, поехала к нему, повенчались и стали жить. Ну,

конечно, по хозяйству-то она ни черта не стала делать. Хоть сама в крестьянстве родилась и выросла, а дела делать не хочет. Барыня, да и только. Разбаловалась. Целый день у зеркала платья примеряет да шали накидывает на плечи и опять к зеркалу.

«Однако же парень ничего не говорит, пусть, мол, холится. Есть кому за хозяйством поглядеть, и работников и работниц полон дом. Любил Грушу очень, не нарадуется на нее...

«Одно — беда! Как вспомнит, что гуляла она, что кто хотел, тот и путался с ней, такая тоска возьмет, что хоть в петлю лезь!.. И чем дальше, тем хуже. Все в голову лезла всякая дрянь... Все вспоминает, что каждый день у Груши другой мужик был, и ходит смутный, злой, пить стал здорово, а напьется, придет домой, скандалит, по столу кулаком бьет:

«— Ты такая растакая, тысячу мужиков знала, каждый день другого к себе водила!..

«Накричит, посуду перебьет, все в доме расшвыряет, Грушу побьет, а потом сам себя за волосы хватает, плачет:

«— Грушенька, прости меня, окаянного, прости душегубца! Дьявол попутал.

«День-другой пройдет тихо, а потом все сначала. Чем дальше — тем хуже. И любил он ее и мучил. И сам мучился. А Груша в замужестве совсем красавицей стала. О ней не только в своем селе говорили. Ее и в других селах знали. Только говорили о ней худо — старого забыть не хотели...

«Прошло еще время. Парень совсем измотался, ни о чем больше думать не мог. Без Груши часу не мог быть, души в ней не чаял, а в голове только старое, в памяти все только Груша с чужими пьяными мужиками...

«И пил он, и Грушу бил, и плакал...

«Однажды кто-то из пьяных чалдонов, поссорившись с ним, крикнул:

«— Ты бы лучше за своей шлюхой поглядел! Ты из дому, а к ней гости! Старое-то, милый, всегда скажется!..

«У парня в глазах потемнело. Кровь бросилась в голову, свету белого не взвидел. Зашатался он, заревел, как зверь, ударил пьяного чалдона по голове так, что тот с ног свалился, а сам побежал домой...

«А дома Груша сидит себе за столом, пасьянсы раскладывает. Он, как сумасшедший, бросился к ней, схватил за горло, и давай душить. Бросил ее на пол, сам упал на нее, обнимает как будто и душит... Та уже хрипит, а он все обнимает ее и целует и душит... Задушил ее, потом вско-

чил, все в доме керосином облил, зажег и убежал... Теперь, кажется, в бродягах ходит...

Беспамятный казался внешне невозмутимым, как всегда, но голос был едва заметно взволнован, глаза оживлены и неспокойны.

А впрочем, может быть, его взволнованность мне только померещилась.

Мы ехали дальше. По сибирской железной дороге проложена одна колея, и потому поезд через небольшие промежутки подолгу стоит на разъездах. Здесь собирались крестьяне из ближайших деревень и на ларьках раскладывали для продажи совершенно изумительные для зрения и обоняния голодного человека вещи. В этих местах мясо, рыба и дичь были баснословно дешевы. Поэтому все продавалось крупной мерой. Если жареное мясо, то обязательно куском в несколько фунтов! Если воловья печенка, — то только целая печень! Если рыба, — то непременно целый сазан или щука фунтов на пять! И было все здесь непривычно дешево, но если денег нет, то «дорого» и «дешево» совершенно одно и то же. Только если дешево, то, пожалуй, еще обиднее, так как за один гривенник можно было бы насытить изголодавшегося и истощенного вконец человека.

Когда конвойные вносили в вагон купленные для себя, вкусно пахнувшие, хорошо зажаренные, огромные куски мяса, печенки или целую птицу, то муки истерзанного желудка и обострившегося обоняния доходили до предела. Истинно танталовы муки!

Во рту пересохло, голова кружится, и острее ощущение, будто тело живет за собственный счет, что оно питается самим собой, истощаясь и разрушаясь. Слабость тела доходила уже до того, что я с трудом ходил и стоял, и поневоле ложился, когда только можно было.

В последние дни в вагоне было народа сравнительно немного, и места хватало. Если б не видеть сквозь окна на разъездах все это съедобное великолепие, можно было бы найти для привыкающего к голоду организма известный покой, но взволнованное зрение и обеспокоенное обоняние наполняли рот слюной...

В вагоне, ставшем более просторным, конвой начал вести себя спокойнее и снисходительнее. Мы с радостью ощущали наше продвижение, предчувствуя конец наших страданий. Огромное количество деревень, сел, разъездов, станций, сменяясь полями и лесами, тянулось бесконечной лентой целый день.

Из-за горизонта навстречу поезду выплывало вдруг богатое село с большой церковью, кирпичным зданием больницы или школы, с несколькими каменными домами среди бревенчатых изб. Потом долго тянулись крохотные деревушки с крытыми соломой избушками, беспорядочно разбросанными, серыми, кривыми, скосившимися, подпертыми и как будто грозящими в любую минуту обвалиться. Ни в одной избушке не было окон, так как их, очевидно, строили окнами внутрь двора, оттого избушки были похожи на серо-грязные ящики, разбросанные зачем-то среди поля. Людей не было видно, как будто ящики были кем-то брошены и забыты.

Затем опять тянулись покрытые снегом поля — бесконечные, тихие, однообразные. Неожиданно на нас надвигался лес. Огромный, высокий, густой, среди которого по узкой дорожке полз, как змея, наш поезд. Плотные стены леса огромными непроницаемыми щитами сжимали дорогу с обеих сторон и уходили в нескончаемую даль. В сумерки черные стены, покрытые белой скатертью, сближались, как будто грозя подойти вплотную и раздавить одиноко ползущую в темноте вереницу дребезжащих коробок.

Ночью в вагоне пели. Это было впервые. Конвой был так милостив, что разрешал не только разговаривать и свободно передвигаться по вагону, но даже не запретил петь. Сначала в группе политических, в соседнем отделении, тихо напевал одинокий приятный тенор, потом товарищи его поддержали и запели хором. Пели негромко, сдержанно и неуверенно. К концу голоса окрепли, и к хору присоединились два женских голоса. Пели старые студенческие песни, грустные и тягучие, а последней пели тюремную песнь:

Как дело измены, как совесть тирана,
Осенняя ночка темна...
Темнее той ночи встает из тумана
Видением мрачным тюрьма...

Грустные песни нагнали на певцов, очевидно, такую тоску, что хор скоро затих. Только женский голос продолжал красивую мелодию. Я узнал этот голос. Из двух пересыльных политических женщин одна была постарше, лет сорока пяти, в сером арестантском халате, воротник которого натер на ее шее красные полосы. Женщина была очень бледна, и желтоватый оттенок кожи говорил о многих месяцах тюрьмы... Строгое, спокойное лицо ее напоминало старинные портреты или лица русских революционерок времен «Народной воли».

Днем она заходила в наше отделение, для того чтобы принести мне немного еды, оторвав от скромных запасов политических малую толику. Кто-то, именовавший себя братом одного из пересыльных, ехал все время с ними в том же поезде и на станциях или разъездах передавал для них еду. Потому-то они и имели кое-какой излишек.

Когда пение в политическом отделении замолкло, в нашем запели бродяги. Их было четверо. Остальные поддержали. Пели не очень громко, но исключительно хорошо. Бродяги и по голосам и уменью петь и по знанию песен производили впечатление спевшегося квартета.

Был среди них обладатель мягкого и приятного тенора, а Беспамятный пел низким, грудным, задушевного тембра баритоном. И песни их были старинные, тюремные, бесконечно печальные. Вся тоска сибирской тайги, весь ужас каторжной тюрьмы, все муки многих лет каторги и кандалов, вся печаль измученной души и мечта о лучшей доле, о скромном человеческом счастье, о простой человеческой радости, — все было в этих примитивных, порой наивных и всегда искренних и безрадостных песнях. Бесхитростные слова согревались красивыми и печальными мотивами и необычайно теплым, задушевным исполнением. Последняя песня, однажды уже слышанная, запомнилась мне:

Ночь тиха... Лови минуты,
Да решетки все крепки.
Ворота тюрьмы замкнуты
На железные замки...
В ночь горит вдоль коридора
Огонек сторожевой,
Да, звеня об шпору шпорой,
Мрачно бродит часовой...
— Часовой! — Что, барин, надо?
— Притворись, что ты уснул.
А я вмиг через ограду
В лес зеленый убегу...
Жену, детей хочу увидеть,
Старушку мать расцеловать.
А потом я возвращуся
В казематы умирать...
— Рад помочь — куда ни шло бы,
Божья тварь, чай, тоже я!
Пуля, барин, ничего бы,
Да боюсь я батожья...
Отдадут под суд военный,
Да сквозь строй как проведут...
А потом окровавленный
Труп в телеге провезут!..

Скоро наступает тишина. Пользуясь свободными местами, люди вытягиваются на скамьях и спят. По вагону неустанно бродит из конца в конец, скрипя сапогами, маленький и худой часовой. У открытых дверей политического отделения старший конвойный разговаривает с кем-то. Голос его собеседника не доходит до меня. Но постепенно он становится громче, слова яснее, и по гортанному произношению и резкому акценту я узнаю осужденного к восьми годам каторги грузина. До меня доходят обрывки фраз: «Отнять землю у царя и помещиков... Отдать ее крестьянам... Понимаешь?! Кто работает на земле, тот должен быть ее хозяином... Отнять заводы, фабрики, рудники и забрать в свои руки... Понимаешь?.. Кто производит, — тот хозяин... Эксплоататоры чужого труда — паразиты! Их надо уничтожить... Тебе платят полтинник в месяц, чтобы ты охранял их покой и их имущество, чтобы ты душил своих братьев... Понимаешь?»

Гортанные слова звучат убедительно и крепко. Резкий акцент бьет с силой, заставляя слушать не отрываясь:

— Мы идем на каторгу... Но тысячи людей продолжают наше дело... Всех в тюрьму не посадишь... понимаешь?

Потом слышен тихий, ровный женский голос. Я опять его узнаю, но слов не разбираю...

За ночь конвой становится совсем своим. Утром старший разрешает мне перейти к политическим. Я сижу среди них в просторном отделении, как будто в гостях у старых знакомых. И принимают меня совсем как гостя. Усаживают на удобное место, угощают, ухаживают. Хозяйственной частью коммуны заведует старшая. Она достала из мешка продукты, легко и ловко делает бутерброды взятым у конвоя ножом, вытирает чашки и ложки, засыпает чай.

Товарищи, готовясь к завтраку, заказывают блюда.

— Галина, мне — устриц!

— Галина, мне — паштет из рябчиков!

— Галичка, попрошу вас — цыпленок кропудин соус миньон дюшес, ростбиф а-ля минут с трюфелями и бутылочку замороженного рейнвейну!..

Товарищ Коридзе, поддерживая кандалы, сердито говорит, заметно акцентируя.

— Товарищ Галина, должен вам заметить, что вчера ваш кофе был отвратителен... Сливки недостаточно свежие... Кофе, должно быть, не мокко, а чоррт знает что... И при

том его подают недостаточно горячим... Обращаю ваше внимание...

Галина, приготовив еду, низким, грудным голосом говорит.

— Слушаю-с... Все будет в порядке... А пока, дорогие гости, пожалуйте к столу... Жрите аржаной с маслом и солью... Прошу вас...

Дорогие гости, поднимаясь и передвигаясь, звенят кандалами.

Молодой, очень красивый грузин, с огромными темно-карими глазами, тонким с горбинкой носом и ярким свежим ртом, подходит ко мне, протягивая руку.

— Позвольте представиться — Элиава, представитель будущей грузинской социалистической республики, статья сто вторая, часть вторая, лишение всех прав, ссылка на каторжные работы сроком на десять лет...

Звякнув, как шпорами, тяжелыми кандалами, Элиава отходит, уступив место Коридзе.

— Позвольте представиться — Коридзе. Статья сто вторая, часть первая, восемь лет каторги... Разрешите предетавить остальных товарищей. Галина Черная — четыре года, Надежда Подвойская — четыре года, остальные товарищи — смотрите — Сергеев, Лагутин, Бартенев, Яблонский. Все — по восьми лет... Прошу любить и жаловать.

Четыре пары ног, пара за парой, звякают кандалами...

Кандалы — пересыльные, двенадцатифунтовые, на казенных неподогнанных подкандальниках и грубых тяжелых поясах. У Коридзе на ногах, под подкандальниками сбита кожа до крови и ран. Он принужден каждый раз подкладывать кусочки марли и ваты, но повязки сваливаются, и жесткая кожа въедается в кровоточащее тело...

Такие страдания почти у всех каторжан в первые месяцы ношения кандалов, пока не загрубеет кожа ног и не приобретутся собственные подкандальники.

Галина Черная после завтрака устало садится, бледнеет и тяжело дышет. Она несомненно больна. Похоже на туберкулез. Как она выдержит четыре года? А после четырех лет — вечное поселение! Но она бодра. Отдохнув, она выходит в коридор и низким спокойным голосом долго, убедительно рассказывает что-то часовому.

Коридзе мне объясняет.

— Это она прекрасно делает... Она работала в военной организации и знает, о чем и как говорить с солдатом...

Будьте спокойны — сегодня он многое узнает... Ему многое откроется... На ее совести не мало погибших для самодержавия людей.

— В херсонской тюрьме, — говорит Элиава, — она в короткое время наладила связь с волей и, несмотря на крепко «завинченную» тюрьму, почта идеально передавалась.

Подвойская рассказывает, что когда в одесской тюрьме возникло возмущение среди заключенных и туда немедленно налетели всякие начальники, в женский корпус явился в сопровождении большой свиты тюремщиков какой-то чиновник. Разговаривая в конторе корпуса с Галиной, он счел долгом официально представиться.

— Чиновник для особых поручений при канцелярии градоначальника. С кем имею честь?..

— Исполняла особые поручения при русской революции. Чем могу служить?..

Стали вспоминать остроумные ответы, удачные выражения на следствии и суде, удивительные шутки и каламбуры в самых тяжелых случаях жизни, даже перед лицом смерти.

Когда осужденных по делу о бомбах в кафе Либмана в Одессе привезли к месту казни, осужденный Беленький, выходя из кареты, заметил:

— Ну и погодка! В этакую ночь простудиться не трудно...

И поднял воротник пальто.

В другом случае, когда прокурор перед казнью читал приговор, кто-то из осужденных крикнул:

— Экую новость сообщил! Нет ли чего посвежее? Этак сдохнешь со скуки!

Когда сменился часовой, Галина вернулась и на смену ей пошел Элиава.

Работа не прекращалась ни на минуту.

Ночью, ворочаясь без сна, я думал о том бесконечном запасе веры в свое дело, о той массе энергии, бодрости, душевной силы, которыми полны люди в соседнем отделении. Я сравнивал себя с ними. Я молод, намного моложе их всех, иду всего лишь на военную службу, с которой могу в крайнем случае сбежать — и вот я уже болен, страшно устал, подавлен и удручен... А рядом люди, закованные в цепи, идущие на десять лет в ужасные каторжные тюрьмы, брошенные на произвол и бесправие свирепых сибирских тюремщиков, на злобное издевательство и жестокие лишения...

И люди эти не перестают жить огромной внутренней жизнью, гореть ярким несгораемым пламенем, они продол-

жают делать свое великое дело и ни на миг не перестают верить в конечное торжество своей идеи...

Мне скоро пришлось с ними расстаться.

В Красноярске меня, как военного, отправили не в тюрьму, а на гауптвахту. Как будто логично. Но почему-то во всех других городах меня отправляли в тюрьму вместе с другими арестантами. Это, очевидно, предоставлялось личному усмотрению конвоя, который в данном случае рассудил, что гауптвахта для военного будет уместнее.

Здесь был иной уклад, совершенно иные порядки, и преступления, совершенные сидевшими здесь солдатами, были не похожи на те, за которые сидели в тюрьмах. Непосредственным и высшим начальством на гауптвахте являлся караульный начальник из строевых офицеров местного гарнизона, сменявшийся каждые сутки. Поэтому режим гауптвахты не мог быть тюремным и во многом был гораздо жестче его. Лежать на нарах воспрещалось, курить также.

Преступления солдат, находившихся здесь, в большинстве случаев ни с какой нормальной человеческой точки зрения не могли быть рассматриваемы как преступления. Но с точки зрения воинского устава они являлись тяжкими нарушениями закона и карались порой очень жестоко.

Военные преступления карались не по общим законам, а по специально военным; судили солдат не в гражданском суде, а в военном, и чаще всего в полковом, то есть в суде, где заседали строевые офицеры вместо квалифицированных судей.

Можно представить себе, сколько жестоких и бессмысленных приговоров там выносилось!

А самым страшным во всех военно-судных делах было то, что свидетельских показаний или документальных данных для доказательства преступления не требовалось. Рапорт начальства, особенно показания офицеров на суде были исчерпывающим материалом для обвинения. И поэтому такие «преступления», как «неотдание чести», «неисполнение приказания», «неуместные разговоры», «не соответствующее воинскому званию поведение» и проч. обычно, без каких бы то ни было доказательств, сурово карались.

Достаточно было, чтобы фельдфебель или офицер возненавидел за что-нибудь солдата, чтобы тот мог в любой час попасть под суд, а оттуда в дисциплинарный батальон, военную тюрьму или арестантские роты. Достаточно было, чтобы офицеру показалось, что солдат не отдал ему чести, — и солдат угекался в дисциплинарный батальон.

Обычный ассортимент преступлений солдата, кроме уже названных, состоял из следующих, примерно, квалификаций: побег со службы, троекратный побег со службы, растрата казенного имущества, спанье на карауле и тому подобные преступления.

И потому в камере гауптвахты я только и слышал вопросы и ответы такого рода:

— Ты какой губернии?

— Рязанской.

— Какого полка?

— Шестого сибирского.

— За что попал?

— За третий побег с растратой казенного имущества.

— Пять лет арестантских рот.

Все знали законы, сами себе и друг другу заранее выносили приговоры, которые почти всегда на суде подтверждались.

Вот молодой, по внешности моложе своих лет, курносый и краснощекий тоболяк. В воскресный день отпущенный в город, он основательно подвыпил и в пьяном виде затеял с кем-то ссору. Городовому, пытавшемуся его успокоить, он оборвал шнур. Когда появился офицер и предложил ему отправиться в часть и доложить о своем поступке, он никуда не пошел, сел на мостовую, крича что-то офицеру и уж, конечно, не отдавая чести.

По существу все, что он сделал, — явления одного порядка: напился и наскандалил. Вот и все. Здесь не было злой воли, не было преступления. А по воинскому уставу, по военным законам он совершил целую серию серьезных преступлений: появление на улице в оскорбляющем воинское звание виде, нападение на городового при исполнении служебных обязанностей, оскорбление офицера, неисполнение приказания и неотдание чести.

Было жалко этого простого, доброго малого, с такими добродушными и почти детскими глазами, целый год прослужившего без замечания и из-за бутылки водки погубившего несколько лет своей жизни.

Вечером я писал под его диктовку письмо к его родителям в деревню, но принужден был оставить его неоконченным, так как бедный тоболяк горько заплакал и расстроился на весь вечер.

За маленькую ошибку, за крохотное отступление от закона, за ничтожное нарушение дисциплины — люди несли

жестокие наказания, ни в какой мере не отвечавшие размерам содеянного.

Были и здесь, конечно, элементы неспокойные, типа бегунов и растратчиков. Послужит такой парень известное время и вдруг исчезнет, не забыв захватить с собой, кроме своего обмундирования, еще и чужое и казенное. Погуляет и, либо сам явится, либо просто попадется. Все, что было при нем, продано и пропито. Отсидит положенное время, вернется в часть, немного послужит и опять за то же. За третий побег он уже получал лишение прав и воинского звания и пять лет арестантских рот. Пять лет рот — это, конечно, много страшнее и мучительнее трех лет службы.

На красноярской гауптвахте я встретил такого «летуна», посаженного за третий побег с растратой казенного умущества.

Большинство же солдат сидело за поступки столь ничтожные, что для штатского являлось загадкой: в чем здесь преступление?

Среди солдат был совсем не знавший русского языка казанский татарин. Несмотря на свою молодость, он был давно женат, и в этом браке была его и его жены трагедия. Ломаными и трудно понятными словами он долго рассказывал о своей тяжелой драме, приведшей его вдобавок к преступлению.

Ему пришлось потерять много времени и произнести массу исковерканных и диких слов, пока я смог наконец уловить смысл его рассказа:

— Он был канушна... он прогнал туда... он был его вожжа... крепко был... Отец его оглобла был... Он родыл канушна... Он теперь живет канушна ребенок...

Трудно передать его рассказ, бессвязный и отрывистый, наполненный гортанными звуками и странными словами.

«Он» — это его жена. Родители были против брака с той, которую он себе избрал. Когда она пришла к нему в дом, родители ее жестоко и беспощадно преследовали. Ее били вожжами, оглоблей, веревками и прогнали жить на конюшню. Когда он уехал на военную службу, жену преследовали еще больше, издеваясь и избивая ее. Недавно она родила, разрешившись в конюшне после тяжких побоев. Теперь она там живет с ребенком. Узнав об этом из ее письма, он стал просить отпуска и, не получив его, уехал самовольно домой. По дороге он был арестован, доставлен в часть, но сбежал и был вторично арестован. Если бы он успел доехать до дома, то, побыв там сколько нужно и вернувшись, он получил бы

небольшое наказание как за длительную самовольную отлучку, или первый побег. Теперь же ему предстоял суд и кара за вторичный побег, причем вторичный побег — из-под ареста.

Бедняга целыми днями плакал...

Здесь на гауптвахте были крестьяне южных губерний: Херсонской, Таврической и Подольской, грамотные и бывалые. Были из Тобольской и Томской губерний, из деревень, находящихся в пяти-шестиста верстах от ближайшей железнодорожной станции, — неграмотные и стоящие на крайне низкой ступени развития. Был татарин Казанской губернии, о котором я уже говорил. Был один грузин, горячий и нервный. Доведенный своим отделенным во время занятий до бешенства и получив от него пощечину, он избил его, и теперь ему предстояло расплатиться за свою горячность и бурный темперамент. Он рассказывал мне:

— Я говорю — нэ лэзь в морду, нэ имэешь права! А он все на мэнэ лэзэт. К стэнкы припер и ударил по мордэ. У мэнэ в головэ туман, в глазах тэмно, ничэго нэ выжу, адной рукой схватыл его за горло, а другой рукой бью его по мордэ, бью по мордэ!.. Потом швырнул его далэко и кричу: нэ подходы, убью! Нэ подходы!

Рассказывая, он все переживал снова, загораясь и дрожа от злобы и негодования. Глаза у него блестели и наливались кровью, белые зубы, ровные и мелкие, красиво выделялись на фоне темной растительности и ярких губ. Он был красив и колоритен в минуты гнева и возбуждения.

За дни прибывания здесь я немного подкормился, так как пища присылалась из казармы и состояла из солдатских щей и гречневой каши — пищи питательной и после тюремного «кондера» вполне вкусной.

Здесь я уже мог получить довольно яркое представление о том, какова жизнь солдата в казармах, особенно в первые месяцы, когда его обучают основной военной премудрости и «вытряхивают» из него домашнюю картошку».

Страшно было подумать, что все то, что уже пережито моими товарищами по гауптвахте, мне еще только предстоит вынести на своих плечах. А главное надо напрячь все силы, чтобы обойти все возможные, легко возникающие преступления, и не войти в антагонизм с воинским уставом и всеми писаными и неписаными военными законами. Сидеть в тюрьме мне больше не хотелось...

Все, что я слышал от моих соседей по нарам на красноярской гауптвахте, было безрадостно, безотрадно и тяжело.

Все дни пребывания в Красноярске были полны разговорами и воспоминаниями о перенесенных обидах и оскорблениях, о жестоком преследовании взводных, фельдфебелей и офицеров, о часах стояния под ружьем, о длительном беге с полным комплектом амуниции, о мордобитии отделенных и дядек. Начиненный этими познаниями, приобщившись каким-то боком к военной жизни, я двинулся из Красноярска в Иркутск, пройдя, как мне казалось, какую то подготовительную теоретическую военную школу. Собственно, я предпочел бы закончить на этом свое военное образование, но жизнь складывалась иначе...

На вокзал меня доставили не конвойные из конвойной команды, а караульные солдаты, которые должны были сдать меня общему этапу, прибывающему из тюрьмы. В ожидании прибытия этапа, мы сидели на вокзале в зале третьего класса. Я отвык от свободных людей, от движения толпы, суеты, беготни и шума общественного места, и потому с любопытством осматривал толпу. Было неприятно, что многие, обратив внимание на арестованного, охраняемого двумя солдатами с винтовками, останавливались и с любопытством разглядывали меня.

На скамье, рядом с нами, сидела деревенская женщина с тремя маленькими детьми. Один грудной был у нее на руках, а двое, лет четырех и шести, бегали возле. Я давно уже не видел близко ребят, не слышал их милых голосов и не играл с ними. Мальчишка постарше в упор разглядывал меня, чем-то заинтересованный. Его славные и умные глазенки смотрели на меня с любопытством и напряженным интересом. Девочка также смотрела на меня, прячась за спиной братишки.

— Ну, что ты, маленький, смотришь на дядю? Интересно?

Мальчик смутился и, опустив глаза, ничего не ответил.

— Как тебя зовут? Ну, подойди ближе!

— Костя... А ты солдат?

— Солдат.

— А почему у этих дядев ружья есть, а у тебя нет?

— Денег нет. Купить не на что.

— Ружья не покупают. Их царь дает.

— А мне вот не дал.

— А почему у этих дядев нет бороды, а у тебя есть?

— Им царь не дал, а мне дал.

— Царь бороды не дает, борода сама растет.

Опять посадил меня парень в галошу. Что ни ответ, то неудача. Маленькая, между тем, стала смелее и подошла ко мне. Я взял ее на руки.

— А тебя как зовут, девочка?

— Илиша.

На меня доверчиво смотрела пара голубых глазок. Крохотный носик смешно морщился, когда она говорила или смеялась. Тихонький голосок был так нежен и приятен, что его нельзя было слушать без умиленья. Крохотные ручки ее озябли, и я согревал их в своих руках, любуясь пухлыми пальчиками и ямочками на кистях. Скоро и Костя забрался ко мне на колени. Он мне рассказывал, что едет с мамкой к отцу в Иркутск:

— Мамка плачет да плачет. Мамка говорит — отец нас бросил. Мы к нему приедем, он мне молоток и гвозди даст, я скворешницу сделаю. У тебя в деревне есть скворешница, дядя?

— Нет, милый, мою скворешницу злые мальчишки сломали.

— А ты новую построй!

— Вот приеду со службы — построю.

— Дядя, а пули у тебя есть?

В это время появился этап, и моя встреча с милыми ребятами кончилась. Эта была лучшая, за много недель, встреча с существами чистыми и непосредственными, каких не было среди сотен встреченных мною людей, обремененных преступлениями, жестокими поступками и полных пороков и корысти.

Я попрощался с ними.

Присоединившись к общему этапу, я снова встретил Беспамятного, доставленного из тюрьмы. Мы обрадовались встрече, так как стали большими приятелями. В Иркутске нам предстояло распрощаться окончательно. Его отправляли в сторону от сибирского пути, и ему предстояло пройти много сотен верст пешком по тяжелой дороге, в крепчайшие морозы, среди снегов, буранов и оснеженной бесконечной тайги. Даже ему, столько видевшему на своем бурном веку и бывавшему много раз в этих краях, было, очевидно, тяжко думать о будущем. Лицо его было мрачнее и сосредоточеннее обычного, глаза смотрели сурово, и шутил он гораздо меньше прежнего. В вагоне не подсмеивался, как раньше, над арестантами, не всегда отвечал на их шутки и

замечания, говорил медленно, спокойно, низким грудным голосом:

— Ну вот, милый, скоро поедем в разные стороны... Мы с тобой, как две тучи... Приплыли с разных сторон, встретились, поплыли недолго вместе и опять разошлись в разные стороны... Одна из туч, может, дождем разольется, а другая ветром так и развеется...

В иркутской тюрьме среди пересыльных свирепствовала особенная нищета: ни сахару, ни чаю, ни денег ни у кого не было. Питались только казенной вонючей бурдой. Курильщикам же приходилось совсем тяжко, так как табаку уже давно не было и в помине. Страдальцы, мечтая о табаке, говорили, что охотно бы отказались от пайка за одну папиросу. Один пересыльный, маленький, худенький и слабенький человек, обросший и лохматый, похожий на больную обезьяну, особенно страдал без табаку. Он целыми днями лазил под нарами, шарил во всех углах и в конце концов обязательно находил крохотный окурок. Использовать этот окурочек нельзя было; он прятал его и снова, часами, лазил под нарами, ухитряясь снова найти «бычок». Откуда эти окурки брались — непонятно. Как будто кто-то предусмотрительно готовил, на крайний случай, небольшой запасец табаку. Если случайно в камеру попадала целая папироса, то ее курили все по одной «затяжке».

Беспамятный тоже несколько раз в день давал махорки на одну «цыгарку» для всей камеры. Маленький арестантик, выкурив свою, составленную из нескольких окурков, цыгарку, размером в две затяжки, немедленно снова лез под нары и подолгу там копошился.

Было что-то страшно унизительное, оскорбляющее в этой жуткой нищете и отвратительном пресмыкании человека. Здесь был предел человеческой нищеты!

Ничего!

Ни куска хлеба, ни крошки табаку, ни одежды, ни своего угла, ни надежды на лучшее будущее...

Этот маленький, обезьяноподобный арестантик под нарами напомнил мне давний случай. Я зашел однажды на задний двор большого дома и, проходя мимо мусорного ящика, принужден был заткнуть нос из-за страшной вони. Я взглянул в угол и увидел сидящего в ящике старика, жадно грызущего кость... Я бегом бросился со двора на улицу, с отвращением и с содроганием, до боли ощущая безграничную жалость к человеку.

Глядя на жадно затягивающегося окурком арестанта, я вспомнил огромные зеркальные витрины великолепных европейских магазинов, где стояли сотни коробок дорогих сигар и лежали груды прекрасных папирос.

Арестанты говорили о табаке:

— Без табаку жить не стоит. Покуришь — сразу легче станет. А жрать — что! Жрать всякая скотина любит.

— Да, теперь бы хорошо турецкого, крепкого свернуть в толстую цыгарку и покурить!

— Зачем турецкого? Лучше махорки ничего и не надо. От табаку в горле щиплет, а махорка чистая: и горлу спокойно, и вкус настоящий.

Когда я им рассказал, что богатые люди курят дорогие сигары, не затягиваясь, а только нюхая аромат дыма, арестанты смеялись.

— Это одно баловство! Тогда и курить не надо! Небось — не цветы, не ладан! Какое это курение, если не затянуться! С жиру бесятся. Дым беспременно проглотить надо — иначе не почувствуешь!

Неожиданно я встретил здесь человека, который показался мне знакомым, но которого я не мог узнать, так как очевидно что-то изменилось в его лице. Он сразу ко мне подошел и, смеясь, спросил:

— Не узнаешь, коллега?

Передо мной стоял очень красивый человек, прекрасно сложенный, крепкий, с правильными и пропорциональными чертами лица. Изменила его борода, которой он раньше, когда я встречал его в одесской тюрьме, не носил. Старый вор-карманник, с большим прошлым и многолетним тюремным стажем, он переехал на жительство в Сибирь, чтобы, по его словам, начать новую жизнь. Он женился на дочери купца и открыл торговлю. Чтобы изменить внешность, он отпустил себе бороду. Красивая, тщательно подстриженная светлорусая борода гармонировала с белой кожей его лица и серыми глазами, придавая ему солидность и степенность.

«С такой благочестивой физиономией, — говорит Гоголь об одном из своих героев, — хорошо быть мошенником».

Введя в заблуждение жену и ее родственников, он, может быть, никогда бы не раскрыл им своей тайны, если бы не обнаружилось, что он дезертир. Профессиональный вор никогда не может быть солдатом, что кстати и воровская эти-

ка запрещает, а потому Петька Нестеров, симулируя сифилис, лежал подолгу в лазарете, затем, возвращаясь в казарму, спешил совершить поступок, за который отправляли в дисциплинарный батальон. Здесь он чувствовал себя лучше, чем на службе. А срок сидения зачитывался в срок службы.

Мне он обрадовался чрезвычайно, потому что я мог ему немедленно оказать большую услугу. Ему нужно было срочно заболеть и попасть надолго в госпиталь. Необходимы были внешние явления сифилиса. Для этой цели я должен был прижечь ему горячей папиросой десны, внутренние стороны щек и другие более интимные места тела. Мои отговорки и ссылки на неопытность в таком деле он решительно отверг, ссылаясь на то, что старые товарищи должны помогать друг другу в беде. А у нас в прошлом действительно было несколько месяцев совместного пребывания в одной тюрьме. Пришлось согласиться.

Ночью, когда все спали или просто лежали, мы в самом укромном углу большой камеры приготовили папиросы и спички и приступили к операции. Нестеров стал на колени, широко раскрыл рот и закрыл глаза. Я зажег папиросу и введя ее ему в рот, быстро приложил к десне. Папироса зашипела и потухла. Пришлось ее снова зажечь и продолжать операцию. Таким образом я прижог ему щеки, десны и другие части тела, не меньше чем в двадцати местах, причинив ему немалые, героически им перенесенные страдания.

Наутро он потребовал фельдшера. Тот немедленно направил его к врачу. Спустя два дня Нестеров был уже в тюремной больнице, откуда ему предстояло, как солдату, попасть в военный госпиталь. Так проходила его военная служба.

И в этой тюрьме я скоро познакомился с соседями по камере. И здесь все те же, обычные для сибирских тюрем бродяги, бывшие каторжане, бежавшие ссыльные, беглые солдаты и прочий бывалый народ.

Рассказ старого вора о своей жизни, об истории своей женитьбы был наполнен такой циничной грязью и хвастливой пошлостью, что передать его при всем необычном и интересном содержании его просто невозможно. Неглупый, много видавший на своем веку арестант рассказывал нам о своих донжуанских похождениях так, как рассказывают пресловутые охотники свои знаменитые охотничьи рассказы, но с той неприятной особенностью, что здесь еще прибавлялась добрая порция совершенно исключительной дряни.

Зато, рассказывая о похождениях в бытность свою на юге России, он поражал обилием блатных слов, особым знанием воровского жаргона. Один из его рассказов звучал примерно, так:

— Вышел я с малины. Топаю до барахолки. Смотрю штимп со штимпехою. У его под клифтом бимбор, у ей на пехе масамат...

«Что раньше купить? Отрубить с пехи масамат — может, у штимпехи дикохт? Куплю, думаю, бимбор. Только я до его, смотрю — рядом мент. Он мене покупает на глаз... На, думаю, откуси — фрайера поймал! Выпер бурканы на меня. А тырить некому, пришлось смыться.

Стиль его рассказа был всегда выдержан.

— Приехали жлобы из деревни. Возле керосиновой лавки стоят. Один потопал в лавку, другой подложил под себе кожух, чтобы не купили блатные, и сидит на ем. Мой сподручный подходит к коням, начинает уздечку покупать. Жлоб кричит: «Пошел вон, ворюга», а сподручный молчит, уздечку покупает... Жлоб как вскочит, с телеги прыгнет, и до сподручного, а я кожух беру и топаю...

Скоро мы окончательно распрощались с Беспамятным. Мы долго жали друг другу руки, говоря о взаимной симпатии и высказывая добрые пожелания. Ведь мы прожили много недель вместе, а недели в тюрьме были порою как годы...

Я невольно думал о нем, и в моем представлении Беспамятный неизменно, как и при первом знакомстве, оставался значительным, интересным и, может быть, большим человеком... Это представление усиливалось тем, что, несомненно, какая-то важная, большая и ценная сторона его жизни была от всех скрыта и оставалась в тайне. Если бы жизнь его сложилась иначе, если бы он имел образование и если бы совесть его не была отягчена страшным преступлением, может быть он был бы выдающимся человеком. Но жизнь сложилась иначе и он затеряется в глухой деревушке, неизвестным бродягой. Большой ум, сильная воля, богатый житейский опыт, — все погибнет без толку, нелепо, по-российски...

Я ехал все отдаляясь от дома, от близких, от Европы и культуры. Опять вагоны, дорога, конвой, шашки наголо, кандалы и факелы... Опять тюрьма. Мрачная, давящая читинская тюрьма. И снова серые, тюремные камеры, серые арестантские маски и халаты. Снова те же рассказы об убийствах, грабежах, разбоях и кражах.

В окнах мелькают деревни, села, города, станции, разъезды. К нашим российским привычным, примелькавшимся лицам стали примешиваться желтые физиономии китайцев, корейцев и японцев. На перроне станции Харбин, в большой многоцветной толпе были видны жирные фигуры китайских купцов в синих одеждах, с длинными черными косами, и маленькие фигурки китаянок на крохотных ножках и с размалеванными личиками. Китаянки шли по-трое вместе, взявшись за руки, чтобы не упасть. На самом краю перрона торчали, рядом с нашими российскими жандармами, огромные, толстые китайские полицейские с жуткими мордами дрессированных бульдогов.

Мы ехали дальше, миновав последний большой город.

Вот мы уже едем по тем полям, на которых десять лет тому назад разыгралась одна из страшнейших человеческих трагедий. Здесь на «сопках Маньчжурии», в угоду нескольким негодяям, из-за личных интересов коронованных владельцев концессий на реке Ялу, столкнулись два народа и в течение многих месяцев лили братскую кровь. Здесь, на полях Маньчжурии, погибли сотни тысяч людей, сотни тысяч остались калеками, без рук, без ног и без глаз. Здесь похоронены мужья, братья, отцы и сыновья сотен тысяч навсегда брошенных жен, сестер, сирот и матерей. Здесь погибали от лютого холода, от грязи и паразитов, от вражеских пуль и снарядов миллионы неповинных людей...

А немного позади, в тылу, в Харбине, толпы казнокрадов, чиновников и спекулянтов наживали на крови солдат миллионы, в ресторанах и шантанах шел непробудный кутеж, в публичных домах собрался весь цвет российской проституции, и пир шел горой... А под звон бакалов в тылу, под грохот пушек на фронте интенданты расхищали солдатское обмундирование и продовольствие, оставляя солдат босыми и голодными. И на море, в то время как один адмирал вел свою эскадру неизвестно зачем в английские воды и расстреливал там гульских рыбаков, другой, под Цусимой, погубил русский флот, пустив ко дну сотни миллионов народных денег и утопив много тысяч русских моряков в волнах океана...

Все это было совсем недавно. Десять лет назад... Но кто может сказать, что этого больше не будет?..

Завтра Никольск-Уссурийск.

КАЗАРМЫ

Ночью, прямо из поезда конвой доставил меня в полковую канцелярию, где принял меня сонный дежурный писарь. Со мной были доставлены мои воинские документы, и я мгновенно из пересыльного арестанта превратился в солдата.

Когда утром выяснилось, что я болен и едва стою на ногах, меня направили в полковой лазарет.

После всех лишений и тюремных неприятностей лазарет показался идеалом чистоты, комфорта, покоя и благополучия. Отдельные койки, свежее белье и пища были как новая жизнь, как отдых после изнурительной дороги. Я подолгу мог лежать, наслаждаясь покоем. Прописанные ванны действовали благотворно. Молодость брала свое. После длительной голодовки появился неутомимый аппетит. Усиленной порции оказалось мало, и, немедленно раздобыв у земляков денег, я за двугривенный получал у кашевара порцию бифштекса. Случалось еще поедать порции тех соседей по палате, которые по болезни есть не могли.

Мне были назначены мышьяковые впрыскиванья. Делал эти впрыскиванья фельдшер самым варварским образом. В лазарете была всего одна игла, толстая и с согнутым концом, игла, которая в руках даже опытного хирурга не могла бы не причинить боли; в руках же полкового фельдшера она представляла собой украденное из мадридского музея орудие пытки. Еще одну страшную операцию проделывал надо мной этот фельдшер. Младший полковой врач, очевидно, в припадке белой горячки, от которой он впоследствии умер, велел фельдшеру пинцетом снимать у меня с фурункулов корки. Это было жестоко и бессмысленно, но фельдшер строго выполнял приказание врача, и мне пришлось терпеть, пока не явился бывший в отпуску другой врач, отменивший ужасное лечение.

Я был не только нижний чин, но еще и молодой солдат, — крайняя степень ничтожества. Фельдшер же был старший унтер-офицер, и возражать ему нельзя было.

В первые дни пребывания в лазарете я в поисках фельдшера зашел в комнату, занимаемую унтер-офицерами из фельдшеров и писарей.

По старой, очевидно, скверной привычке, я инстинктивно произнес:

— Здравствуйте!

Это слово неожиданно, как тяжкое оскорбление, вызвало негодование всех присутствующих:

— Ах ты, серая пайка! Молокосос! Видал ты! «Здравствуйте»! Какое благородие нашлось! Выйди из комнаты, войди опять и стань как полагается!

Я ничего не понимал, но из комнаты вышел и ушел обратно в палату. Потом я все узнал. Младший старшему не может первый сказать: «здравствуйте», а может только ответить: «здравья желаю, господин дядька!»

Из тридцати больных лазарета больше половины были тяжелые. Рядом со мной лежали трое с совершенно одинаково протекающими острыми гнойными плевритами. Между ребрами у них были разрезы, из которых выходили дренажи для выделения гноя. Больные лежали неподвижно, тяжело дышали и глухо кашляли. Лица их были землисто-серые и изможденные. Болезнь, изнуряющая и опасная, болезненный и раздражающий дренаж, долгое лежание в лазарете, — все это делало больных похожими на умирающих. Простые деревенские парни, не привыкшие к болезням и странным для них способам лечения, воспринимали все это как колдовство и были уверены, что умрут.

Поодаль лежали больные с воспалением легких, с инфлуэнцией, один больной был цынготный, а в конце палаты — страдавшие недержанием мочи. Последние были посмешищем всего лазарета: врачей, фельдшеров и больных. Все считали их симулянтами, так как действительно больные этой болезнью освобождались от военной службы. Матрацы их за несколько дней становились зловонными, и врач приказал убрать их совсем, заставляя больных спать без матрацов. Ночью их по несколько раз будили, но всегда с опозданием.

Возле меня лежал больной с флегмоной ноги. Он давно уже находился в лазарете. Мне однажды пришлось случайно открыть тайну продолжительности его болезни. Войдя ночью в уборную, я увидел его с размотанным на ноге бинтом. В руках у него была вставка с пером. Он целиком воткнул вставку в рану, по ходу флегмоны, так что вся она скрылась внутри и в руках оставалось только перо. Уже почти зажившую рану он таким образом жестоко и беспощадно бередил грязной палкой. Я возмутился:

— Что ты делаешь! Ты погубишь себя, ведь тебе придется ногу отнимать, а то и умрешь от заражения крови!

Он испугался, опасаясь, что выдам его. Я его успокоил, но потребовал обещания больше этого не делать.

Утром, при перевязке, доктор длинно и туманно, употребляя медицинские термины, объяснял фельдшерам, отчего бывают рецидивы флегмоны...

В соседней палате лежал больной с аппендицитом. Несчастье этого больного заключалось еще и в том, что врач возненавидел его с минуты доставки его в лазарет. Больной, стеная и плача, просил о назначении его на комиссию для получения отпуска, так как он из большого города, где есть клиника. Но доктор, стоя у его постели, кричал:

— Нет, брат, номер не пройдет. Или здесь резать будем, или здесь и подохнешь! К маме захотел, младенец! Забудешь у меня про маму!! Не смей охать, не баба!

Врач этот, оставленный временно заместителем старшего врача, жестокий, грубый и всегда пьяный, славился даже среди фельдшеров как безнадежно безграмотный и бездарный лекарь. Он выписывал из лазарета совершенно больных солдат, больных с температурой, пришедших в околоток, возвращал в часть, путал диагнозы и лекарства, ругался как фельдфебель и орал всегда и на всех. К концу моего пребывания в лазарете вернулся бывший в отпуску — Вишневский, знающий, добросовестный и человечный врач. Строгий в разговоре с больными, он на деле был отзывчив и относился к больным безупречно. Хамившего и оравшего доктора Левицкого он довольно решительно останавливал и отстранял от больного, беря последнего под свою защиту.

Узнав о моем прибытии, земляки из разных рот нашего полка приходили ко мне в гости. Один из них меня побрил. От земляков же я узнал, что служить здесь тяжко, что офицеры и фельдфебели жестоки. В одной только шестнадцатой роте добрый и хороший ротный командир, по фамилии Чайка, но туда вряд ли удастся попасть.

Когда, после выписки из лазарета, я пришел в канцелярию, адъютант меня не узнал:

— Да тот ведь был бородатый, страшный, а ты молокосос!

Я попросил его направить меня в шестнадцатую роту, так как там, мол, у меня есть земляки. Он без всяких возражений назначил меня туда.

В огромном дворе четвертого батальона были в одну линию правильно расположены четыре деревянных одноэтажных здания ротных казарм. Казарма шестнадцатой роты была крайней и прилегала к небольшому саду, выходившему на

улицу. Внутри помещение не было разделено, и четыре взвода размещались по четырем группам двухэтажных нар.

Вся рота была на занятиях. Я сидел у окна на скамье и читал надписи на стенах казармы о былых победах полка. Если хоть часть того, что написано, было правдой, то полк действительно имел неслыханные боевые заслуги. Когда рота вернулась, меня вызвали к фельдфебелю в канцелярию.

Он сидел на табурете, сдвинув на затылок фуражку, — светлорусый, розовый, с пышными усами и серыми глазами, типичный военный, настоящий фельдфебель или вахмистр и классический «шкура», как называли на военной службе сверхсрочных.

— Ты откуда взялся? Где был? Почему опоздал? Молчать! Когда с тобой разговаривают, должен молчать!

Он задавал мне кучу вопросов, но, как только я пытался отвечать, он кричал:

— Молчать! Это что за разговоры!

Когда он спросил меня о губернии, фамилии, специальности, я промолчал, боясь ответить. Тогда мне немедленно попало за молчание. Положение создавалось неважное: мы друг друга явно не понимали. Надо было объясниться, но попытка сказать хоть одно слово вызывала бурю гнева, и я опять умолкал. Какие уж тут объяснения!

Первая встреча была неласковой, даже для меня, ко многому привыкшего и подготовленного. Но я утешал себя тем, что я не один, что беседа фельдфебеля с другими солдатами была не лучше, чем со мной. Когда я услышал, как разговаривает фельдфебель со взводными, такими же подпрапорщиками, как он сам, я понял, что раньше всего надо научиться не обижаться, что здесь иначе быть не может, что глумление высшего чина над низшим объясняется только традицией, возникшей на почве бесправия и невозможности жаловаться, несмотря на закон о жалобе по иерархии.

Поднимали солдат в четыре часа утра; сонных, ничего не понимающих, со слипающимися глазами, их выгоняли из казармы и гнали вперегонки через весь длиннейший двор и обратно, чтобы окончательно пробудить от сна и растормошить. После этого начинались занятия, стрельба, ружейные приемы, гимнастика и прочее. В промежутках наряды всех родов: на кухню, на уборку двора, чистку бачков и другие работы.

В течение дня надо было еще много раз молиться. Хором молились утром, перед обедом, после обеда, перед ужином,

после ужина и перед сном. Заодно пели «Боже, царя храни». В десять часов, после поверки, полагалось спать, но фельдфебель «от себя» заставлял роту петь песни, собравшись в кружок, посреди казармы и, для ритма, раскачиваясь.

Фельдфебель Гончаров, квартира которого помещалась при казарме, обычно часов с шести вечера до поверки спал. Когда рота становилась на поверку, дежурный отправлялся доложить, что рота выстроилась. В ожидании фельдфебеля рота томилась в строю, переминалась с ноги на ногу, солдаты, усталые и сонные, зевали и мечтали о сне. Но Гончаров не торопился. Взводные, ненавидевшие фельдфебеля за то, что, будучи с ним в одном чине подпрапорщика, они были на низшей должности, «крыли» его и всячески изощрялись в остротах на его счет. Наконец он являся в сопровождении дежурного. Став против роты, застывшей по команде «смирно», Гончаров привычным жестом сдвигал фуражку на затылок, протяжно и долго зевал, крестя при этом рот и другой рукой почесывая ниже спины. Почти не изменяя программы, он, каждый раз одинаково, начинал распекать роту:

— Дежу-урные, днева-альные... Гукаешь, гукаешь — никто не откликается, мать их так и раздак!.. Сегодня полчаса звал, дежурный пришел, как будто в штаны наделал...

Длинная пауза. Рота застыла. Фельдфебель с красной от сна щекой, на которой оттиснулись пуговицы наволочки, опять зевает, крестится, сдвигает фуражку с затылка на лоб и апатично, нудно, как будто исполняя чужое скучное приказание, продолжает:

— Взводный! Смотри, как у тебя люди стоят! Бабы! Раскарряки! Гавны! Животы распустили, каши обожрались! А взводный не видит, глаза повылазили! Завтра всему взводу наряд вне очереди!

С молодыми солдатами занимались по-отделенно и звеньями ефрейтора и унтер-офицеры. Упоенные властью в отсутствии высшего начальства, напичкованные недавно оконченной учебной командой, они куражились и измывались как хотели. Пройдя суровую и тяжелую школу, они теперь отыгривались на «серых», бессмысленно повторяя заученные и вбитые им в головы казенные слова из воинского устава. Невольное и вольное соревнование на лучшего учителя заставляло их быть придирчивыми, жестокими, грубыми и требовательными. От их жестокости новобранцы часто искали спасения в петле.

Первые четыре месяца военной службы, до приведения солдат к присяге, шли занятия под руководством фельдфебеля и взводных. В это время офицеры — ротный и полуротные — почти не появлялись в казармах. Это окончательно развязывало руки младшему составу, и горе было тому, кто в эти руки попадал...

Старая казарменная традиция, по которой «серые» были в полном подчинении у старых солдат и дядек, давила и угнетала тупой жестокостью и несправедливостью. Уставшего от тяжкого казарменного дня новобранца цукали по делу и без дела сотни раз. Надо было чистить сапоги и одежду взводному, отделенному, учителю, каптенармусу, писарю, дядькам и всякому, кто этого хотел. Надо было бегать в лавку, в кипятильню, на кухню и по другим делам. Если новобранец получал письмо, то его заставляли много раз пройтись по казарме «гусиным шагом», то есть на корточках, иначе письма не отдавали. Заставляли стоять, «как полагается», в струнку, руки по швам и отдавать честь во все время разговора. Выдумывали всякие способы «цукания», давая бессмысленные и дикие приказания, заставляя часами стоять «смирно», задавали вопросы о семейном положении и о том, как он первый раз жил с женой...

Меня вызвали в цейхгауз, где «каптер», то есть каптенармус, старший унтер-офицер Горпыченко выдал обмундирование. Когда я был одет и увидел себя в зеркале, я сперва испугался, а потом невольно рассмеялся. Я был похож на Санчо-Пансо, каким его изображают в детских изданиях Сервантеса. Огромные, не по ноге, старые сапоги, широченнейшие грязные и рваные шаровары и такая же неладная гимнастерка. В этом дурацком наряде, со стриженой «под нуль» головой, я был нелеп и смешон. Набравшись смелости и подделываясь под солдатский язык, я обратился к Горпыченко:

— Так что, нельзя ли, господин каптенармус, чего-нибудь поновее?

— А ты шо, у батьки твово не таки шаровары носив? Или к дывчинам собравься? Иды, и так гарный будышь!

— Так что, господин каптенармус, я не смогу в этих сапогах маршировать.

— У цих сапогах уже сто чиловик маршировало, а тоби не можно? Сходи к фельдфебелю, вин приказав таки дать, вин и переменит. «Нэ смогу маршировать!» Прикажут — помаршируешь!

Я боялся предстать пред светлые очи фельдфебеля, не будучи уверен, что смогу с ним разговаривать как полагается. Так в выданном наряде я и остался. Встречи с фельдфебелем я все же не избежал и столкнулся с ним лицом к лицу. Я остановился и стал как вкопанный, глядя ему в глаза. Он меня оглядел с ног до головы.

— Хорош, нечего сказать! Солда-ат! Кра-а-са-вец! Геррой! Совсем — свинья в ермолке!

Я не ожидал, что в нем столько юмора. Он долго еще молча оглядывал меня, чуть усмехаясь.

— Как фамилия? Расхвéль? Чорт тебя знает, откуда ты взялся такой? И фамилия-то какая-то собачья...

Мою фамилию он так и не научился произносить за много месяцев совместной службы. Он ее слышал и читал сотни раз, но выговорить не мог.

Постояв с минуту, он вдруг начал меня распекать:

— Как ты стоишь? Голову подними выше! Еще выше! Подтяни живот! Еще! Каблуки вместе, носки врозь! Посмотри, стерва, куда носки смотрят!

Я посмотрел на носки.

— Что?!.. Что?!.. Ты перед кем стоишь? Как ты смел нагнуться? Зачем голову опустил? Смирно!.. Устава не знаешь! Забыл с кем говоришь! Отделенный! На два часа под ружье!

Я скоро начал к этому привыкать. При каждой встрече он обязательно долго меня держал и распекал, пока ему самому не надоедало. Распекал он точно так же и других, причем всегда совершенно незаслуженно. Оставив меня наконец в покое, он пристал к Фролову, молодому, тихому и безобидному парню из соседнего взвода.

— Сволочь, места своего не знаешь, под ногами путаешься! На гимнастике стоял, как баба, а здесь прыгаешь, как блоха! Раскаряка чортова!

Оставив Фролова, он вдруг крикнул:

— Дежурррный!

Долго, нудно, беспричинно распекал он хлопающего глазами дежурного. Покричав еще несколько минут, он удалился на отдых.

Ефрейтор Цыганков, которому было поручено обучать группу запоздавших на службу солдат, к которым присоединили и меня, был безнадежно глупый, малограмотный и злобный человек. Своих учеников он с первой минуты счел своими личными врагами и в соответствии с этим вел себя.

Обучая нас «втягиванию в бег», он не считался с положенным по закону сроком и заставлял нас бегать в полной амуниции по пятнадцать-двадцать минут. Мы не только задыхались, но останавливались в изнеможении, раскрывая широко рты, как рыба на песке, и с трудом переводя дыхание. В боках кололо, сердце холодело, ноги подкашивались, и дрожали руки. Но Цыганков, не дав отдохнуть, командовал:

— Бегом арш!

И мы снова, обессиленные, с синими физиономиями, с раздутыми ноздрями, вспотевшие, гуськом, один за другим, продолжали бежать. Ослабевшая рука с винтовкой опускалась ниже дозволенного, и Цыганков кричал:

— Ружье выше! Ружье выше! Так вы у меня до вечера бегать будете!

Окончив бег, мы долго еще маршировали шагом и после двухчасовой маршировки отправлялись в казарму, но вскоре снова попадали в руки Цыганкова для ружейных приемов, гимнастики и других строевых занятий. Он отводил нас подальше от казармы, в тихий угол большого двора, и там часами жестоко и тупо терзал наше тело и наши нервы, доводя до отчаяния непосильными занятиями и беспрерывным криком и ругатней.

Другие отделенные и взводные мало чем отличались от Цыганкова в жестокости, грубости и особой изобретательности в отношении новых издевательств. Зуботычины, дерганья, толкания и дикая матерщина были обычным, даже обязательным явлением. Чем солдат был смирнее, послушнее и телом тщедушнее, с тем большим остервенением бросались на него, как вши на чистое тело, оголтелые ефрейторы, унтер-офицеры и подпрапорщики.

В каждой роте было несколько человек, на которых обрушивались гнев, издевательства, насмешки всего начальства.

Вот Тюрин, молодой солдат. Толстый, рыхлый и неуклюжий, как короткий и широкий мешок, набитый трухой, он мало походил на солдата. Болезненная полнота, природная вялость, неустранимая органическая неповоротливость делали мучительным для него все, что ему приходилось делать в казарме. Во время гимнастики его доводили до истерики, заставляя делать то, чему он за всю службу так и не мог научиться. Подымаясь по скользкому столбу, он немедленно падал и расшибался, но его заставляли снова подниматься, и он проделывал это много раз, крехтя, потея и обессиливая вконец. Маршировку и ружейные приемы он преодолеть не мог, чем

вызывал гнев всего начальства. Умственное развитие его было на уровне развития тринадцатилетнего ребенка, а лицо выражало тяжелую глупость и коровье равнодушие.

Бедный парень выносил на своих плечах всю безудержную свирепость, злобное издевательство и преследования одуревших от власти мелких начальников.

Особенно попадало солдатам, не знавшим, или плохо знавшим русский язык: татарам, чувашам, армянам, полякам, евреям.

В нашей роте был маленький, кругленький, с крохотным курносым носиком и узкими глазами, татарин Шейфула. Он понимал по-русски всего несколько слов, говорить же не умел совершенно. Было и смешно и грустно смотреть на ежеминутно возникавшие с ним инциденты, в которых он, конечно, всегда оказывался виноватым и за которые ему тяжко попадало.

— Эй ты, чучело не нашего бога, Шейфула! Подыми голову выше! Винтовку как держишь? Штык ниже! Тебе я говорю, собачий сын, или другому? Голову выше! Ух, ты, стерва татарская!

Отделенный свирепел и выходил из себя, орал, топал ногами, матерщинил, бил в морду, а бедный Шейфула ничего не понимал. Избитый, издерганный, запуганный, он горько плакал, как маленький ребенок, растирая грязными кулаками слезы.

Однажды, выведенный из себя, потеряв самообладание, он сам стал топать ногами и кричать отделенному в лицо, очевидно ругаясь:

— Твоя мать... Твоя мать... Секин сон!

За это он отбарабанил два часа под ружьем.

В воскресенье, в свободные часы, в казарме появлялось много подвыпивших и основательно пьяных. Они шумели и приставали к молодым солдатам, требуя водки. По казарме фланировали, как по широкой улице, парами и группами. У многих висели через плечо гармошки, и звуки их неслись по всему помещению. Почти у всех старых солдат была в сундуке ханжа. На Дальнем Востоке не было винной монополии, и потому в продаже были водочные изделия частных заводов, среди которых лучшим считался завод Смирнова. Однако солдаты охотно покупали китайскую ханжу, очень дешевую и продававшуюся в жестяных банках, что было и удобно и портативно.

К нам пришли знакомые и земляки из других рот. Делились впечатлениями, рассказывали о тяжкой жизни, о жесто-

кости, непосильной маршировке и других тяготах казарменной жизни.

Рассказывали о фельдфебеле тринадцатой роты — Григорьеве. О нем знали не только солдаты и офицеры его роты, но весь полк. Слухи о нем доходили и до других полков. Его свирепость создала в полку легенды, о нем говорили со страхом. Это в его роте каждый год среди новобранцев бывали самоубийства. Из-за него бывало несколько побегов в году из роты. Из его роты уходили десятки людей под суд, а дисциплинарным взысканиям ежедневно подвергалось несколько человек. Перед ним трепетали не только рядовые, но все унтер-офицеры и подпрапорщики. Ротный командир, капитан Кашин, сам был жесток и злобен, но рядом с Григорьевым он был совершенное дитя, и весь находился под влиянием своего фельдфебеля. На строевых занятиях, на гимнастике, в казарме, в лагерях, в свободные часы — Григорьев был всегда неумолимо свиреп, требовал невозможного, выводил роту раньше других, приводил ее позже, не давал ни минуты отдыха, шпынял, толкал, бил в морду, гнусно ругался и, приведя нечеловечески уставшую роту после занятий в казарму, немедленно ставил людей под ружье. Он давал наряды, писал рапорты и выдумывал десятки наказаний. Попытки жаловаться на него не достигали цели из-за покровительства ротного и вообще всей системы жалоб в старой армии.

В ту пору, в соседнем полку, расположенном рядом с нами, случилась история, которая могла бы, как многие думали, повлиять на характер Григорьева, но он оставался верен себе до конца своих дней.

В одной из рот упоминаемого полка был фельдфебель точно такой же, как Григорьев. Его имя было известно всему гарнизону. Это был лютый, мрачный человек, доводивший солдат до исступления.

Однажды ночью его подстерегли в темном переулке возле казармы, набросили на голову длинный мешок и били палками и прикладами до тех пор, пока фельдфебельское тело не превратилось в груду изломанных костей. Мешок притащили в казарменный двор и утопили в солдатском сортире. Виновников этого убийства не нашли.

После этого случая Григорьев получил несколько писем с предупреждением, что его ждет та же участь, если он не уйдет в отставку или не успокоит свой характер, но предупреждения не помогли.

В его квартиру стали по ночам, через окно, швырять камни, но Григорьев даже не говорил об этом в казарме, как будто бы ничего не случилось. Он только становился свирепее.

Каждая рота имела своих злодеев. Если ротный командир не был жесток, то полуротный наводил страх и ужас на солдат; если все офицерство роты не выходило за пределы устава, то фельдфебель свирепствовал люто, распоряжаясь полновластно. А во взводах и отделениях царили, не менее жестоко, ефрейторы и унтер-офицеры.

— У нас в шестой роте, — рассказывал один солдат, — когда под ружье ставят, обязательно два кирпича в вещевой мешок кладут. За два часа всю спину сломит. Ноги и руки затекают, плечи болят, аж плакать охота... а ставят возле канцелярии, в окно поглядывают.

— А в десятой роте, которые гимнастики не умеют, все равно прыгать должны; хоть ты до вечера прыгай. Прыгнешь, упадешь, нос расквасишь, опять прыгай. Вчера человек десять до поверки с гимнастики не отпустили.

Смягчились морозы, днем показывалось солнце, приятно пригревая и местами оттаивая снег. Приближалась весна. Нас, всей ротой, выгнали из казармы на двор, роздали нам лопаты, скребки и метлы, приказав очистить двор от снега и грязи.

В один из первых теплых дней внезапно появился ротный командир, штабс-капитан Чайка. До этого я, рано утром, успел получить очередной фельдфебельский распек. Мы только собрались выйти во двор для занятий, как неожиданно выросла передо мной фигура Гончарова. Я вытянулся перед ним по всем правилам устава. Живот подтянул, грудь выпер, голову задрал, каблуки составил и впился глазами в грозные очи начальства. Гончаров сурово смотрел на меня в упор. Весь взвод застыл, ожидая распека. Очевидно, в голове фельдфебеля медленно созревал план «беседы». В конце концов он его нашел и разговор начался:

— Как ты шинель, сукин сын, надеваешь? А? Почему складки впереди? А? Что же, я тебе, что ли, шинель надевать буду?!

Он начал дергать меня за шинель, делая вид, что поправляет на ней складки. Затем просунул руку между пряжкой пояса и шинелью и стал кричать:

— Пояс болтается, как у бабы сиськи; ворот не сходится, как оглобли. Солдат называется, сволочь серая! Я тут из

тебя кишки вымотаю, я тебя обучу, ты у меня тут — папу-маму забудешь говорить! Почему крюк не пришил? Что? Молчать! Отделенный, на два часа с выкладкой!.. Пшел вон!

Когда мы вернулись с занятий, и я стоял возле своего места у нар, с распущенной гимнастеркой, без пояса и держа в каждой руке по щетке для чистки сапог, в казарме раздался крик дневального:

— Встать!

И вслед за ним команда дежурного:

— Смирнааа!

В дверях казармы показалась полная, среднего роста, фигура офицера. Навстречу ему мчался дежурный. Добежав до офицера, дежурный, в четырех шагах от него, остановился, застыл и, взяв под козырек, отрапортовал:

— Ваше высокоблагородие, в шестнадцатой роте N-го Сибирского стрелкового генерала-адъютанта графа Муравьева Амурского полка во время дежурства происшествий никаких не случилось!

— Здравствуй!

— Здравья желаю, ваше высокоблагородие!

— Хорошо рапортуешь!

— Рад стараться, ваше высокоблагородие!

Ротный быстро направился к середине казармы. Остановившись, он крикнул в пространство:

— Здорово, ребята!

— Здррав-аем ваш-одие!

Примчался фельдфебель. Ротный, поздоровавшись с ним, хозяйственным тоном спросил:

— Ну, как у тебя здесь, как новобранцы, как занятия?

— Все в порядке, ваше благородие, обучаем.

Вокруг ротного образовалась блестящая свита: фельдфебель, взводные, дежурный, писарь, каптенармус. Вся рота стояла неподвижно. Я застыл, повернув голову в сторону начальства. Чайка со свитой приближался ко мне. Проходя мимо, ротный вдруг остановил взгляд на мне. Я увидел крупное, гладко выбритое, приятное лицо слегка восточного типа, на котором заметно выделялись большие темнокарие, необычайно выразительные и красивые глаза. Ротный остановился:

— Это что еще за чучело?

Фельдфебель ответил:

— Новобранец, ваше благородие, недавно пришел в роту.

— А-а! Вот так фигурка! А ты что, голубчик, городской? Какой губернии? А-а! Видно, что не деревенский. Ты, что же, сапожник, голубчик?

— Никак нет, выше благородие.

— Портной?

— Никак нет!

— Так кто же ты, столяр, переплетчик?

— Никак нет, выше благородие, я студент.

— Студент?.. Какого же ты... какого же вы университета?

— Я учился в Сорбонне, ваше благородие.

— А-а! Да-а... так, так... Гончаров! А что это на нем за барахло? Что же, у тебя ничего лучшего нет? Во что ты его вырядил? Что за безобразие! Сейчас же его переодеть!

— Не могу знать, ваше благородие, это Гарпыченко выдал обмундирование.

Ротный накричал на Гарпыченко и на Гончарова. Обращаясь ко мне, он спросил:

— Ну, как, голубчик, трудно приходится? Ничего! Это только первое время. Потом будет легче. У нас не так плохо. Надо только немного привыкнуть. Не тоскуйте. Заходите вечером ко мне. Поговорим о Париже, Петербурге, Москве. Гончаров! Проводи его вечерком ко мне. Ну, прощай!

— Счастливо оставаться, ваше благородие!

Я был ошеломлен. Это было совершенно неожиданно и необычайно. Среди офицеров нашего полка Чайка славился как исключительно добрый, ласковый и милый человек. Но такой редкой в этих условиях приветливости и мягкости я не мог ожидать. Я думал, что быть добрым — значит не быть свирепым, как другие ротные. В казарме стало светлее и просторнее. Я чистил сапоги автоматически, думая о происшедшем. Но зачем я соврал ему, что я студент, да еще Сорбонны? Стараясь доказать, что я действительно интеллигент, а не кто-нибудь, я перехватил через край. Я никогда нигде не обучался. Когда мне было восемь лет, отец пригласил за восемь рублей в месяц для меня и старшего брата педагога, гимназиста восьмого класса Антонова.

Позанимавшись с нами месяца два, Антонов заявил моему отцу:

— Мне жаль ваших денег. Ваш младший — негодяй и тупица. Отдайте его в обучение сапожнику, больше из него ничего не выйдет.

Отец, естественно, был в отчаянии. Но предсказание Антонова впоследствии частично исполнилось.

Когда я впервые принес стихи в редакцию газеты, редактор, схватившись за голову, в ужасе закричал:

— Какой сапожник это написал!

В казарму вернулся фельдфебель, он подошел ко мне. Я опять вытянулся в струнку, но он, тем же жестом, как это сделал Чайка, похлопал меня по плечу, постоял минутку и стал тихо, ласковым голосом говорить:

— Ну... как Расхве́ль... Того... Трудно приходится? Ничего... Это, брат, ничего... Это только спервоначалу... Да... Потом лучше будет... Легше... Стой вольно, не в строю ведь... Да... Горпыченко! Горпыченко!! Иди сюда! Ты хуже барахла не нашел? Смени ему все обмундирование, чертов хохол! У-у, мазныца!..

Через несколько часов все обмундирование на мне было почти новое, все было по мерке и подогнано в швальне.

Вечером «сам» Гончаров проводил меня к Чайке. По дороге он мне объяснил, как нужно вести себя с офицером. Войти в комнату к офицеру, оказывается, можно было только предварительно постучав и получив на это разрешение. Сесть можно было только после приглашения. Я думаю, что после уроков Гончарова можно было бы спокойно появиться в любом светском салоне.

Мы провели весь вечер с Чайкой. Дома он меня окончательно очаровал. Меня поразило, когда я вошел к нему, обилие картин, написанных маслом и акварелью. Кругом стояли мольберты с неоконченными картинами. Почти все картины были копиями. Оказалось, что он художник, но без специального образования. Больше всего его, очевидно, тянуло к театральным декорациям, на что указывало обилие макетов. Он обрадовался, узнав, что я знаком с театром, и заставил целый вечер рассказывать о Московском Художественном и других столичных театрах. Его особенно интересовали рассказы о постановках Петербургского театра «Музыкальная драма» и Московского Художественного.

Местные офицеры годами не бывали в столице. Чтобы ехать из Никольска в Москву и обратно экспрессом, что не всякий офицер мог себе позволить, нужно было потратить дней двадцать, а обыкновенным поездом около месяца. Поэтому здешнее офицерство туда почти никогда не попадало.

Чайка был неглупый, интеллигентный человек. К сорока годам он с трудом добрался до штабс-капитана, потому что

не был в кадетском корпусе, а окончил только юнкерское училище. Местное офицерство он не долюбливал и вне службы с ним не сталкивался. Он был страстный охотник и обожал своих двух великолепных сеттеров. Перед сегодняшним появлением в казарме он был две недели на охоте и привез воз битых гусей, которых раздарил всему полку. Он не пил и в карты не играл, что было совершенной редкостью среди армейского офицерства на далекой окраине. Живя обособленно от прочего офицерства, он все же пользовался всеобщей любовью и уважением. Солдаты относились к нему исключительно хорошо. Из его роты никогда ни один солдат не попал под суд. Это для прочих рот было совершенно необычно.

Через несколько дней после Чайки появился также неожиданно полуротный командир — штабс-капитан Воздвиженский.

Угрюмое, плоское, серое лицо его, украшенное серебряными очками и обрамленное круглой маленькой бородкой, было похоже на лицо учителя пения в городском училище или церковного регента. Тусклые, немигающие глаза смотрели сквозь стекла спокойно и сонно. От взгляда этих глаз сразу хотелось спать или, по крайней мере, хорошенько позевать. Он всегда говорил тихим голосом, никогда не повышая его, и никогда не ругался, что крайне изумляло солдат. Носил он шинель из солдатского сукна, что также вызывало удивление. Основная и отличительная его черта заключалась в том, что он целиком жил только воинским уставом, только военным строем. Он ничего не читал, кроме военных газет и книг. Он все свое время посвящал казарме, строю, военным беседам с солдатами, и только говоря о маршировке, стрельбе, гимнастике, словесности, о «священной особе государя императора» и о боге, он немного увлекался, и чуть-чуть поблескивали сквозь стекла очков его глаза. Он никуда не ходил кроме казармы и церкви. Даже обеды денщик носил ему домой из офицерского собрания. Кругозор его был ограничен, он ничего не знал, и его ничего не интересовало кроме службы. Скрипучим, тихим голосом, не глядя на солдат, опустив глаза, он говорил:

— Солдат должен быть слугою царю и отечеству. Он должен с оружием в руках защищать их до последней капли крови. Армия должна бороться с врагом внешним и внутренним.

Слова эти мы слышали сотни раз, от них давно уже тошнило, но в его устах они звучали еще мучительнее и нуднее.

Служил у него много месяцев денщик, городской паренек, бойкий, разбитной, расторопный и ловкий. Он убирал квартиру, топил печи, чистил мундир и сапоги, таскал обеды, ставил самовар, готовил завтраки и ужины, словом делал все, что делают все хорошие денщики. Воздвиженский был им очень доволен и благодарил фельдфебеля за удачный выбор.

Однажды, подав полуротному обед, денщик обратился к нему с просьбой:

— Так что, позвольте вас просить, ваше благородие, завтра праздник, — разрешите уйти богу молиться!

— Праздник? Какой завтра праздник?

— Так что завтра, ваше благородие, у нас судный день, Иом-Кипур!

— Как — судный день? Ты кто же — еврей?..

— Так точно, ваше благородие, еврей.

— А-а... Хорошо... можешь итти...

— Покорнейше благодарю, ваше благородие.

Через час Воздвиженский был в роте и обычным тихим голосом приказал фельдфебелю прислать ему нового денщика.

Так кончилась карьера бойкого денщика Журкевича.

Большинство юных офицеров, попав прямо со школьной скамьи в часть, обычно перенимали у старых офицеров и фельдфебелей самые отвратительные выходки, боясь, очевидно, быть заподозренными в мягкости и сентиментальности.

Я видел, как юный, недавно прибывший в роту подпоручик, пробыв несколько дней на службе, бил солдат на учении кулаком по лицу. Это не была мгновенная вспышка гнева или раздражения. Он бил методично — одного за другим, почти всех солдат взвода, очевидно, создавая себе этим иллюзию старого бравого вояки. Любопытно и то, что официально запрещенное мордобитие производилось открыто на дворе, во время учения, в присутствии многих офицеров и солдат.

Это не темная камера курской тюрьмы, не мрачный коридорный тупик у карцера. Здесь нет тюремщиков, и нет заключенных. Открыто, в присутствии сотен солдат, юный начальник, офицер российской армии, бьет по лицу подчиненного, пользуясь тем, что за обратный удар солдат получил бы много лет каторги. Этот случай напомнил виденное мною в детстве.

В уездном городе Мариуполе стояла рота пехоты. Окна дома, в котором я жил с родителями, выходили во двор

казармы. Я, с другими мальчишками, сидел часто на заборе и смотрел на занятия. Однажды мы услышали боевую тревогу, которую играли горнист и барабанщик. На этот раз тревога была не учебная. На заводе «Провиданс» «бунтовали» рабочие. Солдат вызывали для усмирения бунтовавших. Рота спешно строилась. Пока вестовой мчался за ротным командиром, жившим неподалеку, каптенармус выдавал боевые патроны. Фельдфебель обходил строй, проверяя патронташи и считая патроны. Подойдя к стоящему на правом фланге барабанщику и не досчитав нужного количества патронов для револьвера, фельдфебель, не сказав ни слова, широко размахнулся и ударил барабанщика по лицу. Барабанщик зашатался и уронил палки. Подняв их, он стал на место, но был новым ударом по лицу выброшен из строя. Фельдфебель побежал дальше, а избитый барабанщик стоял смирно, с красной горящей щекой и слезящимся глазом...

Да, закон запрещал бить, но били все — и офицеры, и фельдфебели, и унтер-офицеры. Одни — открыто, вызывающе, официально, другие — немного с трусцой, исподтишка, в укромном уголку.

Одной из самых нелепых фигур на военной службе был командир четвертого батальона — подполковник Ляхецкий.

С огромными ногами, в неуклюжих сапогах, в поясе толстый и широкий из-за неладно скроенной шинели; узкогрудый и узкоплечий, с маленькой головой на длинной и тонкой шее, высокий и худощавый, он был похож на бутылку из-под рябиновки. Голосом, напоминавшим лай больной собаки, он бросал отрывистые слова, будто неизменно командовал батальоном, и никогда не разговаривал по-человечески. Да и батальоном он командовал плохо, путая команду, сбивая со счета и мешая солдатам. За высокие таланты и успехи его перебросили из Польши в Никольск. Преданный исключительно строю и казарме, он был помешан на хорошо пригнанных крюках мундиров, блестяще начищенных пряжках пояса и хорошо сидящих на голове бескозырках, имеющих кокарду на одной линии с носом. Очевидно, его общительная натура заставляла его останавливать на улице встречных стрелков и заводить с ними длинную и тоскливую командирскую беседу.

— Ты какой губернии? Варшавской? Земляк? А дурак! Не стыдно тебе, а? Как у тебя крюк пришит? А! А еще земляк. Безобразие, гадость! Не солдат, а свинья. Фу! Фу! Фу!

Иди, доложи фельдфебелю, чтоб на два часа под ружье поставил. Кругом! Шагом марш!

Если солдат был не земляк, то обычно происходил совсем странный разговор.

— Ты какой губернии? Томской? А я думал — земляк. Вот, не земляк, — а дурак! Как у тебя пряжка почищена? А? А еще стрелок! Гадость, свинство! Доложи фельдфебелю — на два часа под ружье! Кругом! Шагом марш!

Он был искренно уверен, что счастье России — армия, с ярко начищенными пряжками и блестящими сапогами. Казалось, что, кроме нескольких десятков самых необходимых слов, применяемых им на службе, он ничего больше сказать не может. Однажды он приказал срочно выстроить весь батальон при офицерах. Люди, только что вернувшиеся с занятий, усталые и измученные, снова собирались из казармы во двор, строились, равнялись, застывали по команде «смирно» и ждали батальонного.

Заметно волнуясь, батальонный достал и одел на нос очки, вынул из кармана аккуратно сложенный листок бумаги и стал читать во всеуслышание письмо от своей жены, проживающей в Варшаве.

В письме сообщалась печальная, но чрезвычайно важная новость о том, что их бывший денщик, отправленный потом в часть, был пойман на улице раскуривающим папиросу. Теперь ему предстояло понести достойное наказание.

Батальонный, побледнев и покрывшись потом, взволнованно говорил о позоре, который провинившийся солдат навлек на голову своих командиров и всего полка. О том, до какой степени падения может дойти человек, забывший бога и, в свою очередь, больше богом не опекаемый. На эту тему он говорил больше часа, бесконечно повторяя лающим, крикливым, сдавленным голосом отрывистые слова.

Солдаты потом рассуждали:

— Небось, сам курит, хрипун чортов, а солдат покурил — так под суд!

— Вот бы его, стерву старую, оставить на денечек без табаку, он бы и бога и чорта забыл.

— Лахудра-то евонная, видать, одной масти с ним. Наверное, сама по морде била холуя, да не отучила курить.

— Да уж хорошая барыня себе бы такую шваль корявую не выбрала... По пану и холява...

А жизнь казармы шла своим обычным чередом. Все тот же дикий бег на рассвете после короткого сна, «до ворот

и обратно», строевые занятия, гимнастика, ружейные приемы, словесность, стрельба, маршировка, а в промежутках свирепая матерная брань, мордобитие и «спаси господи, люди твоя» вперемежку с «боже, царя храни»...

В батальонном саду, когда стаял снег и ласково пригревало солнце, на сложенных досках сидел полтавец Василенко.

— Что ты, Василенко, заплакал? Что с тобой?

— Да так, про деревню вспомнил... Хорошо сейчас у нас...

Он не мог говорить и расплакался совсем по-ребячьи. Я сидел рядом с ним и ждал, пока он успокоится. Он еще всхлипнул и стал рассказывать:

— У нас сейчас пашут. Самое время теперь. Земля мягкая, пар от нее идет. И в садах работа идет,—у нас вишни много родится. Такой вишни, как в нашем уезде, нигде нет. Много у нас этого добра. Хорошо у нас в деревне...

С тоской и болью говорил он о своей деревне много простых слов, согретых любовью к родным местам, к родной земле, от которой теперь «пар идет», к вишневым деревьям и ко всем радостям деревенского, домашнего уюта, в котором он родился и жил до двадцати одного года.

Сдал сегодня и Родин, земляк Василенко; он затосковал не меньше своего приятеля. Тосковали и другие, особенно дальние, из Полтавской, Таврической и Киевской губерний. Теплые лучи весеннего солнца, волнующий запах нагретой земли и деревьев, шумливое чириканье огромных стай воробьев—вызывали в бедных парнях воспоминания о таком недавнем и далеком счастье, о милых и близких сердцу вещах и людях, о двадцати прошедших веснах в родных полях и лесах.

Цыганков свирепствовал. Он все больше входил во вкус и упивался властью над вверенной ему группой молодых солдат. Сознание власти кружило ему голову и давало энергию гораздо большую, чем от него требовала служба. Он с видимым наслаждением выводил нас на занятия и держал дольше всех, отпуская с очевидным неудовольствием. Обучая ружейным приемам в течение нескольких часов, он буквально выворачивал нам руки и ломал спины. В дрожащих и непослушных руках винтовка ходила, как хотела, вызывая негодование и крик Цыганкова. Он с бешенством вырывал винтовки, с силой совал их обратно, прижимал к плечу, тол-

кал вверх, тянул вниз. Толкая нас кулаком в грудь, он беспрерывно изрыгал редкую даже в казарме фельдфебельскую матерщину.

На одном из таких уроков, доведших всех до полного изнеможения, Цыганков подал команду. Почти никто ее не выполнил. Не было сил поднять винтовку. Цыганков подошел ко мне:

— Ты что команды не выполняешь?

— Не могу больше. Дайте отдохнуть.

Он приблизился, схватил винтовку и стал ее вертеть в моих руках до боли, брызгая слюной прямо в лицо. Я уже давно был раздражен и ненавидел Цыганкова, но, помня о своем решении владеть собой, напрягал все усилия. Однако чаша терпения переполнилась. Я уже не понимал слов ефрейтора, и, когда он, придвинувшись вплотную ко мне, наступил мне умышленно на ногу, прижимая винтовку к моему плечу, волна дикого бешенства охватила меня, дыхание остановилось, и я, вырвав из его рук винтовку и подняв ее прикладом вверх, направил штык на Цыганкова. В припадке сумасшедшей вспыльчивости я несвоим голосом заорал:

— Уйди, сволочь, или я тебе горло проколю!

Цыганков отскочил:

— Ты что, белены объелся? Стань смирно!

Но я, продолжая держать винтовку в том же положении, крикнул:

— На каторгу пойду, но горло тебе проколю!..

Выражение моего лица, голоса и боевая поза были–так, очевидно, убедительны, что Цыганков, явно струсив, приказал:

— Кончай занятия! Айда в казарму!

Мы пошли в казарму. Я ждал ареста и видел уже знакомые серые стены тюрьмы, решетки, арестантов, конвойных. Но ни в этот день, ни в следующий меня не арестовали. На занятия меня с этой группой не послали, а присоединили ко всему взводу.

Должно быть, Цыганков обо всем случившемся доложил фельдфебелю, а тот Чайке, но Чайка, успокоив Цыганкова, велел не давать делу хода. Солдаты же меня убеждали, что Цыганков сам не доложил, боясь мести, и, спихнув меня взводному, круто изменил свой нрав.

На обширном дворе идут одиночные и взводные учения. Фельдфебель тринадцатой роты проверяет своих взводных

и отделенных, экзаменуя молодых солдат. Он стоит впереди разомкнутой шеренги и командует:

— Ложись!

Люди быстро, по счету, ложатся.

— Отставить!.. Как вас дураков учили?!. По команде «ложись» должны повернуться на носке левой ноги в полуоборот, выставить правую ногу на полшага, стать на левое колено, опереться на левую руку и лечь. Ложись!.. Встать!.. Ложись!.. Встать!.. Ложись!.. Встать!

Взводные и отделенные стоят в стороне, переглядываясь и сердито усмехаясь. Солдаты, ложась и поднимаясь, тяжело дышат, взъерошены и раздражены. Но фельдфебель не унимается. Он орет на учителей:

— Сволочь, щваль, а не учителя! Солдаты ничего не умеют, ничего не знают, бабы мокроподолые!

И опять:

— Ложись! Встать! Ложись! Встать!

У другого взвода идет еще более интересное учение:

— На молитву, шапки долой!

— На-кройсь!

Солдаты в три приема снимают с головы фуражки правой рукой, кладут их в левую, а правую опускают по шву. Этот прием повторяют десятки раз.

По всему двору разбросаны группы обучаемых: взводы, отделения и одиночки. Между ними ходят офицеры и фельдфебели.

Капитан Мазин, стоя у левого фланга, смотрит вдоль застывшей по команде «смирно» роты и кричит:

— Что за шевеление! Я вам пошевелюсь! Фельдфебель, почему у тебя люди качаются, как...? Смирно! Отставить! Смирно! Отставить! Стервы, а не стрелки! Застыть не могут! Я вас до вечера мотать буду! Там на правом фланге кого выпирает, кто распух, как флюс? Завались, сука! Что за рота!

Дальше идет обучение штыковому бою. Винтовки взлетают вверх, падают вниз и выбрасываются вперед. Взводные хриплые, сердитые, надрываясь, орут.

— К бою — готовсь! Коли! Отставить! Што за выпад! Што за выпад! Где у тебя нога? Чортова кукла! К бою — готовсь! Коли! Закройсь! Отбей — вправо! Отбей — влево! Отставить! Отбей вверх!

Пятнадцатая рота демонстрирует подготовленность к встрече высокого начальства: фельдфебель изображает генерала, делающего смотр. Взводный командует:

— Для встречи сирава! Слушáй — накра-ул! Раз-два! Отставить! Опять нечисто. Слушáй — накра-ул! Раз-два!

Солдаты сопят, потеют, задыхаются, руки затекают, спину ломит, ноги дрожат и подкашиваются.

— Сволочь серрая! Раскарряки! Бабы! Взводные, отделенные — учат, учат, ничему не научат! Салдааты! Кррасаавцы!..

Это наш милый, родной Гончаров распекает роту и учителей.

В Никольск-Уссурийске издавалась газета «Уссурийский Край». В эту газету я послал несколько своих стихотворений, которые были напечатаны за моими инициалами. Когда меня впервые пустили из казармы в город, я пошел в редакцию и познакомился с редактором. Очевидно, имея знакомство в офицерских кругах, он рассказал, что у него печатает стихи стрелок 16-й роты. Иначе, как бы дошли сведения об этом до командира полка? Чайке за эту штуку попало. Он вызвал меня к себе и просил:

— Пожалуйста, не печатайте больше стихов. Мне сделано замечание.

Мне ничего не оставалось делать, как извиниться и обещать больше не грешить. Я только никак не мог понять — в чем мой грех. Стихи были по возрасту — лирические. Разве только то, что они, конечно, были плохи.

Этим дело не кончилось. Меня вызвали к полковому командиру, полковнику Манцыферову. Старый, суровый офицер, с лицом немного скуластым, со впалыми щеками и черной бородой, напоминавший Бориса Годунова, каким его изображает Шаляпин, он, так же как и батальонный командир, требовал блестящей военной выправки:

— Голову выше! Еще выше! Еще! Вот так! Хорошо стоишь, хвалю!

— Рад стараться, ваше высокоблагородие!

— А ты, что же это, а? Стихи печатать? Кто же тебе это разрешил? А? Ты спрашивал разрешения?

— Никак нет, ваше высокоблагородие!

— Как же ты осмелился писать стихи? А?! Кто тебе позволил?!

— Я с детства пишу, ваше высокоблагородие!

— Там с детства или не с детства, а у меня в полку, чтобы этих безобразий не было! Слышишь?

— Так точно, ваше высокоблагородие!

— Ступай!

Не по моей вине «Уссурийский Край» оставался в дальнейшем без моих произведений...

Зато я получил заказ на стихи от Чайки. Он был лиричен, сентиментален и писал нежные письма своей любви во Владивосток. Он просил написать ему несколько стихотворений, указав даже темы:

— Вот, например, перед моим последним отъездом из Владивостока мы с ней сидели в сквере, была лунная ночь... Вот, пожалуйста, изобразите это... Ну, в виде воспоминаний, что ли... Вы уже сами знаете как...

И я писал стихи для владивостокской дамы, пользуясь материалом заказчика...

В тот тихий час, когда с тобой мы в сквере были
И нежный свет луны в твоих глазах играл,
И легких облаков гирлянды быстро плыли, —
Ты помнишь ли, какие я слова тебе шептал?..

Ты помнишь ли?.. Боюсь, что ты забыла,
Но я их не забуду никогда...
Вдали от чар твоих мне снова все немило,
И дни мои текут, как тяжкие года...

Но дни пройдут — я вновь к тебе вернуся
И припаду, как встарь, к твоим ногам,
И с теплой нежностью, счастливый, я прижмуся
К твоим ласкающим и трепетным рукам...

С полковым командиром мне пришлось встретиться на улице. Это меня основательно испугало, не столько за себя лично, сколько за свое непосредственное начальство, которое стало меня отпускать в город раньше, чем остальных новобранцев. Этого я добился тем, что на обучении отдавания чести я верно и точно отвечал на вопросы, правильно становился во фронт и умело отдавал честь. Перед первым отпуском в город меня проверял фельдфебель — теоретически и практически:

— Перед кем ты, по уставу, должен при встрече становиться во фронт?

— Перед своим ротным, батальонным и полковым командирами и перед генералами, господин фельдфебель!

— За сколько шагов до офицера ты должен остановиться?

— За четыре шага, господин фельдфебель!

— Ну, вот, скажем, я командир полка, а ты идешь навстречу.

Мы пошли друг другу навстречу. За четыре шага я остановился, стал во фронт, сделал равнение на «командира» и отдал честь.

— Молодец, Расхвéль, хорошо!

— Рад стараться, господин фельдфебель!

И вот, при одном из первых же отпусков я встретился с командиром полка. Я обомлел. На улице была публика. Я боялся, что не сумею чисто и правильно проделать процедуру «фронта», тем более, что Манцыферов был чрезвычайно строг и требователен в отношении воинского чинопочитания. «Молодцевато» подтянувшись, отбивая сильно и громко шаг, я остановился и стал во фронт шагов за семь до командира. Повернув голову в его сторону и задрав ее, сколько можно, я застыл и отдал честь. Подойдя ко мне, Манцыферов остановился.

— Какой роты?

— 16-й, ваше-соко-одие!

— Здорово!

— Здравия желаю, ваш-бродие!

— Подними голову выше, еще выше, еще! Сибирский стрелок должен глядеть орлом! Вот так! Направо! Шагом арш!

Никольск-Уссурийск грязный, пыльный, немощеный городок, только тем отличался от других провинциальных городов, что на улицах его среди штатских редко можно было встретить русского. Большинство были японцы, китайцы и корейцы. Все прачечные были китайские. Все парикмахерские и кондитерские — японские. Мясные — корейские. В узких улицах китайского базара перед помещениями, на столиках и прилавках, были разложены товары; перед другими лавками ожидали клиентов стулья китайских парикмахеров, бривших тут же на улице. Обычно можно было наблюдать, как парикмахер, обмотав вокруг кисти левой руки иссиня-черные волосы клиента, выбривал густо намыленную голову его вокруг косы.

Здесь же были расположены ресторанчики, славившиеся пельменями.

Перед ресторанами располагались фокусники, собиравшие толпу любопытных и зевак, особенно солдат. Тут многие напивались, дебоширили, дрались, обижали купцов, вследствие

чего на базаре постоянно бывал в наряде пехотный патруль для водворения порядка и отправки в комендатуру буянов и пьяниц. Старые солдаты рассказывали, как однажды патруль одного из полков, явившись на базар, вдрызг перепился и, после скандалов и стрельбы, был арестован комендантом и с большим трудом при помощи казачьего патруля доставлен на гауптвахту.

В городе было много публичных домов. Все они, кроме китайских, предназначались для военных. Любопытно, что в китайские домики солдат не пускали. Это особенно волновало и распаляло их, и они, собираясь толпой, штурмовали домики, защищаемые какими-то необычайными по росту и силе китайскими вышибалами. У этих домиков происходили драки между китайцами и пьяными солдатами, и только вмешательство патруля обычно ликвидировало скандалы. Зато в японских полтинничных домиках солдаты были желанные гости. Правда, любви приходилось ждать, особенно в праздники, долго и в порядке очереди, иногда даже во дворе — в холод или дождь.

Были еще рублевые дома — офицерские. Туда, конечно, пускали и солдат, но они избегали встреч с офицерами и поневоле отказывались от посещения этих домов. Количество заболеваний гонореей было не мало, и даже в одной нашей роте я, за короткое время, знал нескольких больных.

Я иногда заходил в японскую кондитерскую, неподалеку от полка. Там можно было посидеть, выпить стакан чаю и поболтать с хозяйкой, милой маленькой японкой, любезной и гостеприимной. Мои посещения стали, незаметно для меня, более частыми, так как бывать в городе было негде, и, уходя из казармы, я мог с удовольствием заходить только в знакомую кондитерскую.

Там в квартире при кондитерской, в чистой и уютной комнате, на прохладной циновке я мог в свободные часы отдыхать, читать книгу, писать многочисленные письма друзьям в Россию и находиться в обществе ласковой хозяйки. Когда однажды я несколько дней не мог выйти из казармы и посетить кондитерскую, хозяйка явилась к фельдфебелю и, принеся ему торт, стала просить отпустить «люсики сальдата, Ваниська».

— Какой Ваниська? У нас Ваничек много!

— Клясива, шибко клясива, щечека клясна, глазика челня...

— А-а, это, Расхве́ль, дьявол черноглазый! Расхве́ль! Иди-ка сюды. Это к тебе баба пришла? Туды твою... Иди к ней!

Видно, торт пришелся ему по вкусу. Он стал часто заходить в кондитерскую и каждый раз получал пакетик в знак внимания и благодарности. Его любовь к сладостям крайне удивала меня: фельдфебель склонен был более к крепким напиткам, и, отпуская меня в город, он не забывал мне обычно подсказывать;

— Не забудь, Рахсвель, там того... Насчет шкалика...

Стали готовиться к переезду в лагери. В нескольких верстах от Никольска, на берегу речки Сайфун, в чистом поле, на месте старых лагерей выкладывали нарезанный большими квадратными кусками дерн, густой, сочный и ярко-зеленый.

Перед выступлением полка в лагери были назначены дивизионные маневры. В жаркий день полк в полной амуниции, со скатками на плечах, с полной выкладкой в вещевых мешках, вышел по сухой, пыльной, давно не знавшей дождя, дороге. В маньчжурском климате зима очень холодная, а лето тропически жаркое. Только по ночам наступает успокоительная прохлада.

Поднятая огромной колонной солдат и ветром пыль садилась на лицо, заползала в рот, нос и уши, раздражала глаза. Пот, смешавшись с пылью, стекал тонкими струйками по лицу в рот и затекал за воротник. Пройдя часть дороги, мы остановились, чтобы пропустить артиллерию.

Мимо нас мчалась батарея с громом и лязгом, поднимая огромные тучи густой и едкой пыли. В густом тумане коричневой грязи, летавшей в воздухе мельчайшими брызгами, мелькали серые фигуры артиллеристов. Бедра и колени болели и ныли. Приклад винтовки скользил в мокрых уставших руках. На груди, под скаткой, тело обильно потело, и шинели намокали так же, как белье и гимнастерки. За спиной, на скатке, привязанной «тренчиком», болтался и шумел котелок, стукаясь о флягу. На серых от пыли лицах струйки пота промывали полоски, открывавшие красную, загорелую и распаренную кожу лица.

Вода во флягах кончилась, а достать ее было негде. Мимо нас снова промчалась, громыхая и пыля, артиллерия, за ней взмыленная конница.

В этой кутерьме ничего не поймешь. Кто, куда и зачем мчится? Почему нас обгоняют, почему мы обгоняем? Куда мы идем, скоро ли вернемся? Мы ничего не знаем. В горле пересохло, на зубах скрипит пыль.

Десятки раз, вихрем, пролетают мимо нас на белых лошадях полковые адъютанты. Мчатся ординарцы, развозя приказания.

Эстонец Эдвард, старый, кончающий в этом году службу солдат, тихий и исполнительный, говорит, идя рядом со мной:

— Кому это нужно? Зачем мучить людей? Спина болит, ноги еле разгибаю, а подошвы горят, как обваренные кипятком...

— Вот, ей богу, истинное мучение! У меня задница запрела, горит между ногами, хожу раскарякой, — все одно не помогает! Хоть ложись, да помирай...

— Чего божишься? Болит ж... — беги к доктору, он тебе сразу сметаной намажет...

— Он намажет, сука краснокожая!.. Он только и знает, что иод. В околоток кто не придет, что ни болит, сейчас фельдшеру крякнет: «Назаров, смазать, чтобы больше не приходил». А Назаров квачем — раз в иод, а потом в горло. Ему што горло, што задница — одно добро.

— Это ты про Левицкого? Я в прошлом году к нему в околоток пришел; кашель такой, что дышать невозможно. «В чем дело?» — «Так што кашляю, ваше благородие». — «Ну, кашляни». — Я кашлянул. «Врешь, сукин сын! Назаров! смажь горло!» Я говорю: «Ваше благородие», а Назаров уже кричит: «Раскрой рот» — и как влезет квачем, как смажет горло, у меня аж слезы из глаз! Поперхнулся, закашлял, вырвало меня, совсем захворал от него. Теперь — помру, в околоток не пойду!

— А Никифоров любит к Левицкому ходить! Своих денег на ханжу нет, ну, он и ходит к Левицкому изо рта нюхать... А от того всегда смирновкой на все помещение несет!..

Мы прошли за сутки сорок верст и вернулись настолько разбитые и усталые, что не могли двигаться и ходить.

После маневров сутки отдыхали.

Я посетил знакомых солдат — музыкантов полкового оркестра. Еще издали слышны были звуки отдельных инструментов. В музыкантском помещении корнеты, гобои, флейты, валторны и тромбоны, шумели словно желая перекричать друг друга. В углу, у окна — пикколо гонялось за гаммой

кларнета и каждый раз на высоких нотах издавало пронзительный свист.

В оркестре были музыканты, игравшие и до военной службы, знавшие ноты и счет. Тем же, которых выбрал в ротах капельмейстер по своему усмотрению из числа не знающих музыки, приходилось плохо. Хозяйственный «капельдудка» желал в 3—4 месяца сделать из них оркестрантов. За каждую взятую неверно ноту капельмейстер больно бил своей палочкой музыкантов по рукам. Если же к концу занятий выяснялось, что урок не готов, музыкант получал здоровенную пощечину.

Капельмейстер был маленький, злой, наглый человечишка, задира и хвастун. Он страдал из-за своего маленького роста, и потому носил сапоги на очень высоких каблуках. Это делало его еще смешнее. Казалось, будто он передвигается на ходулях. Свое красное лицо пьянчуги и скандалиста он всегда морщил, стараясь придать ему значительность и важность, но и это выходило неладно, окончательно портя впечатление. Одним из высоких качеств его натуры, как он сам считал, было то, что — «я вин никаких не пью... я пью только водку, но зато сколько угодно!» Пил же он не в соответствии с ростом много, но никогда не пьянел.

Музыканты его ненавидели.

Свои музыкальные таланты и вкус он расценивал очень высоко и однажды рассвирепел, когда я ему сказал, что если бы Бизэ встал из могилы и услышал, что он творит с темпами в попурри из «Кармен», то бедный композитор обязательно утащил бы его с собой в могилу!.. Хорошо, что я был вне его власти!

Тяжко приходилось бедным музыкантам. Большинство из них много раз просилось в роту, но друг капельдудки, полковой адъютант, не выпускал из оркестра.

Уже спускались сумерки, когда я возвращался из музыкантской команды. По батальонным дворам группами и одиночками гуляли солдаты, наслаждаясь часами отдыха. Земляки гуляли в обнимку и лускали семечки.

На скамьях у помещений полковой канцелярии полковые писаря, с гитарами и мандолинами в руках, напевали романсы. Полковые писаря—это сливки общества, высшая аристократия среди низших чинов. Прически с пробором, фуражки с козырьками, унтер-офицерские нашивки, собственные сапоги и перешитые мундиры,—все это резко отличало их от полковой массы. Страдали они только от того, что им

нельзя было, как штабным писарям, носить штаны на выпуск. И песни они пели не какие-нибудь солдатские, а романсы.

Небольшой тенорок чувствительно поет, затягивая темпы и особенно концы фраз:

Кари очи-ии, где вы скры-ылись
Мне вас бо-о-о-льшее не вида-ать!..

Струны глухо рокочут, писарь закатывает глаза, вбирает дыхание и, с глубоким выдохом, выталкивает из груди:

Ох, где вы скры-ылись, д-позабы-ылись?..
Мне вас бо-ольшее не вида-а-ать...

Долго еще писарь напевает под аккомпанемент гитары и мандолины лирические романсы. Вдогонку мне доносятся последние слова старинного произведения:

А если неет — гаси свечу,
Дрожа-ащую между перста-ами;
Не дай гореть ее лучу,
А залей ее слеза-ами...

Солдатский день подходит к концу. Скоро поверка. Снова перекличка, фельдфебельский распек, чтение приказа, назначение на наряды, «отче наш» и «боже, царя храни»...

Сегодня, однако, выплыло внезапное развлечение. На перекличке не оказалось двух «гусей» — писаря и каптенармуса. Не нашли их ни в канцелярии, ни во дворе, ни в саду. Уже после поверки, когда люди укладывались спать, их привели в казарму смертельно пьяными. Лица их были избиты и окровавлены, одежда в грязи. Придя из города после серьезной выпивки, они у самого батальонного сада присели, чтобы дождаться окончания поверки и явиться в отсутствие фельдфебеля, но уснули и вывалялись в грязи.

Проснувшись и не узнав друг друга, они рассорились, разодрались и основательно набили друг другу в порядке взаимности физиономии. Их заметили и доставили в роту. Падающих с ног от тяжелого опьянения писаря и каптенармуса, по приказанию фельдфебеля, двое солдат поддерживали за воротники мундиров, не давая им свалиться. Вокруг собралась вся рота. Глаза писаря были мутны и бессмысленны и закатывались под лоб, как у умирающего. В руках солдата он качался и болтался, как висельник в петле. В несколько

лучшем виде был каптенармус Фельдфебель, которому, очевидно, обиднее всего было, что пили без него, зло язвил:

— Нехай вся рота смотрит! Глядите — господа унтер-офицеры! Это «примеры» для роты! Господин писарь и господин каптенармус! Хуже ротных свиней. Те грязные, так хоть не пьяные и морды не разбитые... Фу, сволочь какая! Стой смирно, не качайся, чушка поганая! Ну, погляди на себя, ну, погляди... Дневальный, принеси зеркало!

Зеркало принесли. Фельдфебель заставил их поглядеть на себя.

— Ну, что, свинья или не свинья?

— Так... точно... свинья... гос-подин фельдфебель...

— Не совестно тебе, а?

— Так точно... совестно...

— Ну, на, погляди хорошенько на себя, видал ты такую рожу? А?

— Никак нет... Не видал... Ей богу!..

Писарь взглянул на себя опять и прыснул со смеха. Гончаров больше не ругался и не злился, а только добродушно трунил:

— Приятели... Пара гнедых... Поцелуйтесь! Я вам говорю, или не вам? Поцелуйтесь! — внезапно заорал он.

После нескольких окриков они, под хохот всей роты, поцеловались. Но Гончарову было недостаточно:

— Кто так целуется? Хороши приятели! Поцеловаться как следует!..

Но они не пожелали целоваться, и фельдфебель собственноручно, схватив обоих за шиворот, долго стукал их лбами, пока они поцеловались. После этого он их отпустил.

Напивались в роте часто. Являлись из города совершенно пьяные, буянили, ругались, лезли в драку, гонялись за «серыми». Солдаты старались таких укрыть от взоров начальства. Пьяного раздевали, укладывали спать и охраняли, пока он не заснет. Если же пьяный попадал в руки фельдфебеля или, еще хуже, офицера, да еще не нашей роты, то наказания ему было не миновать. Фельдфебель бил за это в морду и ставил под ружье, а офицеры разделывались с ним более официально и серьезно.

Был в нашей роте старый стрелок Ларин. Пьяница, скандалист, драчун и забулдыга.

Он ухитрялся ежедневно здорово выпивать, но в строю и на занятиях держал себя крепко и не выдавал своего со-

стояния. Зато по воскресным и праздничным дням он напивался до предела, становясь центром внимания не только роты, но часто и всего батальона. Напившись, он лихо орал, надевал фуражку кокардой к затылку, гимнастерку расстегивал, пояс снимал и держал в руках. В таком виде, качаясь и спотыкаясь, он бродил по казарме, требуя угощения. Он был настойчив и назойлив и, пристав к кому-нибудь, доводил многих до того, что его отталкивали от себя, а часто и били. Рябая, широкая физиономия его наливалась кровью, светло-серые глаза, пустые и бессмысленные, мутнели и были страшны своим тупым, ничего не выражающим взглядом Надавав ему тумаков, его укладывали спать, но он скоро вскакивал и, бегая в одном белье по казарме, снова буянил и орал. Фельдфебель ставил его к стене, так как устоять без поддержки он не мог, и долго бил его по широкому лицу, то слева, то справа, сухой и крепкой ладонью, приговаривая:

— Я из тебя выбью хмель... Сволочь пьяная, мазепа вонючая, сукин сын! Тебя спать, скотину, уложили, а тебе не спится? Давно морда не бита? Вот тебе, рябая обезьяна! Вот тебе!..

Пощечины крепко и звонко хлопали по скуластой физиономии Ларина. Он падал на фельдфебеля, но ударом возвращался на место, стукаясь головой об стену. После отеческого внушения словом и делом Ларин немного протрезвлялся и, успокоенный, ложился спать. Потом он выстаивал по много часов под ружьем, выполнял вне очереди наряды, чтобы в ближайший праздник повторить всю историю сначала. Под суд Чайка его отдавать не хотел, так что фельдфебель «судил» и приводил приговор в исполнение самолично.

В одну послепраздничную ночь, когда пьяных было особенно много и их с трудом успокоили, уложив спать, пришел в казарму дежурный по полку офицер. Навстречу ему помчался с рапортом дежурный по роте. Не успел он закончить рапорт, как рядом с ним выросла фигура Ларина.

В нижнем белье, босой и взлохмаченный, он, прикладывая руку к воображаемому козырьку отсутствующей фуражки, попытался также рапортовать офицеру.

— Ваш родие! В шашнадцатой роте... во время... полка... во время... пришествия. Так что, ваш родие... так што... не могу знать...

Офицер вспылил:

— Это что за сволочь? Как фамилия? Почему пьяный? Позвать фельдфебеля! Безобразие! Распущенность! Всех под суд отдам!

Ларин переминался с ноги на ногу, качался во все стороны, бормотал несвязные слова и пытался отдать честь. Прибежал сонный, испуганный фельдфебель. Вытянувшись в струнку, он только повторял:

— Не могу знать! Так точно! Виноват! Слушаю!..

В дни праздников и особенно пасхи пили все, даже те, кто был равнодушен к водке. Пьяных драк, скандалов, ссор, отлучек было много, но в эти дни на все это смотрели сквозь пальцы, как на узаконенное нарушение воинского устава, или может быть во имя всепрощения в день «светлого воскресения».

На дежурства и дневальства, в караулы и наряды назначали по возможности неправославных; православные же праздновали, услаждая себя ханжой и смирновкой.

Христосованием здесь очень увлекались, и вчерашние и завтрашние мордобойцы, всякий, кто по каждому поводу и без всякого повода бил в морду и крыл матом, сегодня троекратно лобызался и дарил крашеное яичко тому, кого столько недель доводил и долго еще будет доводить до слез и отчаяния.

Идут занятия. Вот проплыла нелепая фигура Ляхецкого. Смешная маленькая голова, с морщинистым лицом, качается на тонкой, с торчащим кадыком, шее. Частая, приседающая походка не гармонирует с высокой фигурой. Длинные руки болтаются и доходят почти до колен. И весь он похож на старую больную обезьяну в офицерской форме.

Ротный командует:

— Смирна! Равнение направо!

Подходит батальонный и отрывисто лает:

— Дорова, молодцы!

— Ав раем, аш бродие!

Он подходит к группе офицеров, вытянувшихся и козыряющих, и здоровается с ними. Пожимая каждому руки, он говорит:

— Здравствуйте! Здравствуйте!

И это звучит:

— Дрóтоти, дрóтоти! Прошу продолжать!

Чайка, который славится в полку тем, что прекрасно командует, кричит:

— К церемониальному маршу! На пле-чо! Рота, повзводно! На взводную дистанцию!

И командир первого взвода продолжает, став позади ротного:

— Первый взвод, равнение направо, шагом марш!

Остальные взводные, когда их взводы подходят к месту первого, коротко командуют:

— Прямо!

Мерно, с особенной силой отбивая шаг и повернув головы направо, рота проходит мимо батальонного командира, согласно устава, прижав правую руку к ноге, как знак почести командиру.

Сложнейшие и запутаннейшие правила отдания чести и воинского чинопочитания заедали армию, оставляя все остальное как бы на втором плане. Тщательнейшее изучение церемониального марша, на которое тратилась масса времени и энергии, стоившее много сил и нервов солдатам и отнимавшее много времени у начальства, было предназначено только для парадов и почетных встреч высокого начальства. Всевозможные способы отдания чести, козырянье, на караул, по-ефрейторски на караул, фронт, церемониальный марш, ранжир, точнейшая линия строя, штыки, как один, — все это не могло дать армии никаких боевых качеств и не вызывалось необходимостью, а делалось только для показа и для самоублажения. Много часов тратилось на то, чтобы шеренга, застыв по команде «смирно», действительно так застыла, будто она состоит не из живых людей, а сложена из камня. Штыки винтовок, взятых «на плечо», должны были быть на одной линии по высоте и уклону, как прутья забора. Носки сапог — как по ниточке. Перед всяким смотром, от самого маленького и до корпусного, всегда применялся один и тот же маневр. Фельдфебель сзади быстро обегал выстроенную в две линии роту и, вбив по краям ее два колышка, туго натягивал веревку, по которой равнялась шеренга каблуками. Когда рота выравнивалась, колышки быстро вытаскивались и прятались. Этот обман был всем известен, применялся во всей армии и был почти узаконен, относясь, очевидно, как и многие другие комбинации, к разряду пунктов ненапечатанного устава.

Начальник, проверяя линию выстроенной части, обычно кричал:

— Вижу шевеление! Опять шевеление! Что за шевеление на правом фланге! Я вам пошевелюсь, сволочи!

Закрыв один глаз как для стрельбы, глядя вдоль линии окаменевшей роты или батальона, офицер кричал снова:

— Правый фланг — винтовку выше! Штык ниже! Приклад—к себе. Посреди — кто пузо выпер — убрать пузо, чортова баба! Кто там шевелится, кто шевелится?!.

Иной офицер, окончательно помешавшийся на том, чтобы часть в строю не дышала и окаменела, часами добивался того, чтобы ни один стрелок не шелохнулся на миллиметр, не качнулся и не шевельнул бы кончиком штыка. Слова «вижу шевеление» произносилось офицерами с испугом и негодованием.

В самом деле: человек—и вдруг шевелится!

На смотрах дивизионных или корпусных обращалось внимание только на выправку, муштровку, церемониальный марш и чистоту ружейных приемов: «на плечо», «к ноге» и «слушай — на краул». Для этой цели, за много дней до смотра, солдат целыми днями гоняли, заставляли маршировать, отбивать ногу, усиленно заниматься ружейными приемами, кричать сотни раз: «Здравья желаем, ваше превосходительство!», «Рады стараться!» и «Покорно благодарим!».

Людей доводили, до изнеможения, тормошили, нервировали, раздрожали, и все только для того, чтобы высшему начальнику показать красоту и выправку дивизии или корпуса. Как будто все эти тысячи людей существовали и отдавали много лет жизни только для того, чтобы изредка доставлять минуту эстетической радости высокому начальству.

Наука отдавания чести также была чрезвычайно существенна и была построена на законе чинопочитания, который в российской армии играл огромную роль. Во всей огромной военно-иерархической лестнице каждая нижняя ступенька трепетала перед высшей и была ею в достаточной степени попираема. Ступенек было много, и надо было каждую знать: кому просто отдавать честь, кому становиться во фронт, кому просто делать «на караул», кому, — по-ефрейторски, как это делать, имея фуражку на голове, и как, не имея. Как это делать на ходу и как стоя. Когда можно махать правой рукой и когда нельзя. То же самое обеими руками. За сколько шагов до начальства стать во фронт, как топать при этом ногами и как уйти. Как поворачивать голову и как смотреть на начальство. Надо было знать, когда, при виде появившегося офицера, кричать: «встать» и когда «смирно», когда надо рапортовать и когда не надо.

Многое, очень многое еще нужно было знать из науки отдавания чести и чинопочитания. И горе тому, кто науку эту плохо или нескоро постигал. Солдаты часто и много страдали, неся не только дисциплинарную ответственность, но и попадая под суд. Это еще объяснялось и тем, что никто не хотел прощать солдату «неотдавание чести», так как всякий чин был достаточно цукаем высшим и всегда с наслаждением вымещал это на серой скотинке. Благо, она была совершенно безответственна, и на ней можно было безнаказанно отыграться.

Честь надо было отдавать не только всему начальству и всем офицерам армии, «как находящимся на действительной службе, так и вышедшим в запас», но и всем военным чиновникам, капельмейстерам, врачам, ветеринарам, попам и дьякам. И, конечно, ничего страшней не могло быть для солдата, как обидеть неотдаванием или небрежным отдаванием чести кого-нибудь из названных чиновников. Болезненно самолюбивые, они немедленно реагировали на «оскорбление», и больно попадало солдату. Особенно входили в раж капельмейстеры, которых солдаты не любили и старались не замечать.

Солдат не имел права войти в вагон трамвая или конки, в вагон I и II класса железной дороги и в ресторан. На улице или в ином публичном месте — курить воспрещалось. Книг, без подписи ротного командира, читать нельзя было; читать газеты — только с разрешения командира части. В театр, концерты и на другие зрелища он мог ходить только по особому разрешению командира и то только теоретически, так как на деле разрешений не давали. Помимо всего, каждый офицер имел право распекать солдата на улице, и делал он это часто, с видимым удовольствием, подолгу, с аппетитом. И тут же приказывал ему отправиться в казарму и доложить фельдфебелю, что он нарушил устав и подлежит такому-то наказанию. А то просто отправлял его в комендатуру.

Наша рота на занятиях полевой гимнастики. С разбега, оттолкнувшись от трамплина, надо перескочить через саженную яму, наполненную водой. Этот номер разрешается не делать недостаточно подготовленным, особенно молодым. Но офицеров нет, они беседуют в отдалении, а потому взводный насел на Тюрина:

— Ну, Тюрин, беги!

Тюрин даже позеленел от испуга. Он робко и заискивающе улыбается, и улыбка его похожа на гримасу собаки перед чиханьем.

— Тебе говорят, тюря свинячья! Прыгай! А то в яму скину!

Тюрин знает, что номер необязателен и что ему вовеки его не сделать, а потому стоит на месте. Но взводный вошел в раж:

— Ты, что же приказания не исполняешь? Под суд хочешь, сукин сын? Прыгай!

Тюрин трясется, ноги у него подкашиваются. Вся фигура напоминает сбитый старый матрац. Под крики взводных, под невольный смех солдат, под свист и улюлюканье, он разбегается, добегает до края трамплина и останавливается, как вкопанный. Он тяжело дышит, испуганно смотрит под ноги и медленно пятится от края. Но взводный его не оставляет в покое. Он снова орет, грозит и требует:

— Беги, стерва брюхатая! Сдохнешь, а прыгнешь! Беги!

И Тюрин снова разбегается, добегает до края, отталкивается, взлетает и с шумом и плеском шлепается в грязную, вонючую, воду... Он на миг скрывается под водой, затем его голова, без фуражки, показывается на поверхности; ему протягивают руки и вытаскивают из ямы. С него текут ручьи мутной воды, растерянное лицо его все в грязных потеках, сапоги чавкают.

Занятия продолжаются.

С заходом солнца жара сразу спадает. Скоро девять часов. Горнисты играют зорю. Потом — на молитву. Во всех ротах дежурные командуют: «на молитву» и «шапки долой». После обязательных «молитвы господней» и «молитвы за царя» горнист играет отбой и марш по палаткам. Но неугомонный фельдфебель собирает роту в круг и заставляет петь.

Солдаты устали, хотят спать или посидеть у палатки, но надо, стоя на месте, в кругу, раскачиваясь, петь. Уже темно, когда кончают петь. Все торопятся лечь, чтобы выспаться и отдохнуть. В палатках спят по восьми человек. Душно. Но стоит поднять край палатки, чтобы впустить свежий воздух, как немедленно раздаются протесты — холодно. Приходится закрыть.

В офицерском собрании играет полковой оркестр. В огромном деревянном бараке, за линией палаток — светло и шумно, пахнет хорошей кухней, и слышны веселые голоса. Мне хочется послушать музыку. Я отправляюсь к собранию и сажусь в темноте на сложенные доски у задней стены барака.

Играют попурри из «Кармен», потом вторую рапсодию Листа. После казарменных будней и дней, наполненных

строевой тоской, унылыми сверхсрочными физиономиями, командою, окриками и матерщиной — бесконечно приятно слушать музыку, отрадны знакомые мелодии.

Я невольно уношусь в прошлое, на далекую родину, к морю, у которого еще так недавно, в такие же тихие темные вечера, слушал музыку, доносившуюся из парка. В темном небе необычайно ярко горят звезды и отражаются в волнах, покачиваясь и дрожа. Издали доносятся женские голоса и смех. Пахнет солью и мохом, и вдруг ветром приносит запах степи, запах скошенного сена и травы...

Внезапно предо мной вырастает фигура. Я вскакиваю. Узнаю прибывшего недавно из Петербурга офицера. Выгнанный из гвардейского полка за пьянство, дебоши и прочие художества, он был загнан к нам. Высокий, прекрасно сложенный, красивый, он был приятен и безобиден в нормальном состоянии, но стоило ему напиться, как он учинял скандалы, ругался, лез в драку, бил посуду, и окружающим стоило тогда больших трудов успокоить его и доставить домой.

Я вскочил, но убегать было поздно. Он придвинулся вплотную ко мне, дыша на меня винными парами:

— Ты ч-чего, а-а? Ты к-кого, а-а? Ты что же это здесь д-делаешь, а-а? Гаварррри, гаварррри, а-а?

— Музыку слушаю, ваше благородие.

— Ч-что-о? Муз-зыку-у-у? Ах, ты, с-с-волочь! Муз-зыку-у?! А под с-суд ты не хоч-чешь? А-а? А т-танцовать ты не хочешь? А-а? Гаварри! Ты, мож-жет, танце-гкк!-вать хочешь? А-а? Сволочь такая! А девочек ты — гкк! не хочешь? А-а? Гаварри!

— Никак нет, ваше благородие?

— А пп-ачеему не хочешь?

— Не могу знать, ваше благородие!

— Малчать, сукин сын! Маалчать!

Минуты две он стоял молча, терзаемый пьяной отрыжкой И снова:

— Сегодня же ночью тебя — гкк! — будет судить полевой суд! Он т-тебе покажет муз-зыку.. И девочек... И все... На рассвете тебя повесят. Понял? Гаварри!..

— Так точно, ваше благородие, понял!

— Ты умрешь, как пес... без... этого... как его... без соборования... или... как его... без миропомазания... да... И труп твой... или прах развеют п-по ветру... и собаки его сожрут и будут лизать твою кровь... Вот тебе и муузыка!.. Прощайся с жизнью!.. Тебе гаваррю — прощайся с жизнью!..

Я стоял, вытянувшись и отдавая честь. Он пьянел все больше, качаясь, икая, путая слова, окончательно теряя нить мышления.

Мне было интересно его слушать, но он мог неожиданно выкинуть какое-нибудь коленце, и я поневоле думал о том, как бы двинуть его кулаком в грудь, опрокинуть и бежать, благо никого не было и темнота окутывала нас.

— Прощайся с жизнью, т-т-ебе гаваррю! Это что же, непослушание? А?

Он схватился рукой за эфес. Я отскочил в сторону шага на три. В руке его блеснула обнаженная шашка. В тот же миг я бросился бежать во весь опор к моей роте. Позади меня бежал пьный офицер и дико орал:

— Стой!.. Стой, говоррят!! Стрелять буду, стой! Стой!!! Лови!!! Держи!!!

Услышав крики погони, дежурные в ротах начали свистеть, но я бежал и, пригнувшись, влетел в линию наших палаток.

В батальоне поднялся шум. Офицер, размахивая шашкой, требовал у дежурного выдачи «государственного преступника», «шпиона» и «арестованного». Были вызваны дежурный по полку и адъютант, которые его с трудом обезоружили и доставили домой. Все роты были потом опрошены по поводу этого случая, но я предпочел себя не называть. Так вернее. А то я же и был бы виноват.

Я рассказал об этом только Чайке. Он высказался весьма лаконично:

— Зря вы ему по уху не дали; ему это не помешало бы.

По существу, конечно, зря, но стоит ли из-за пьяного хама засесть на годы в тюрьму?

Не стоит.

На небольшом бугорке за лагерем, на утоптанной траве, собирается после занятий вся компания наших хохлов: Василенко, Родин, Чубарь, Нищенко, Былин и другие. Налузгав пуд семечек и покрыв вокруг себя всю землю кучками скорлупы, они начинают петь. Запевает обязательно Былин. Широколицый, скуластый и курносый, он почти всегда добродушно и приятно улыбается, и серые глаза его превращаются в две узкие щелочки, сквозь которые едва заметно блестит темная влага. Когда Былин хохочет, то всегда громко, раскатисто, сочно и заразительно. Сквозь щелочки глаз на щеки выбегают капельки слез и, вытирая их большим кулаком, он говорит: «Та ну вас к бису, с вами греха наберешься!»

Хотя вызывал смех он сам своими прибаутками, рассказами и верными наблюдениями.

Сегодня Былин получил из дома с полпуда шпику; один кусок, потерявший свою свежесть и издававший запашок, он роздал землякам. Он в связи с этим делал им различные предсказания гастрического свойства и сам хохотал, придя в очень веселое настроение:

— От, побачыте: любите на шармака сало исты, а теперычки хай вашу срацю комары едят!..

И, вытирая широкой ладонью щеки, приговаривал:

— Та ну вас к бисову батьке, с вами греха не оберешься!

При всей своей молодости, он и внешностью и манерой производил впечатление бывалого, хозяйственного мужика, хитроватого и деловаго. Он был неглуп и практичен, ухитряясь даже на службе что-то продавать, покупать, менять, причем всегда с явной выгодой для себя и с поздно обнаруживаемой неудачей для клиента.

Больше всего он мечтал о том, чтобы попасть в денщики к ротному, но должность была уже занята, и Былин искренно огорчался, так как ненавидел строй и всю казарменную жизнь. При его бойкости, развязности и хозяйственных способностях он был бы, конечно, классическим денщиком, умеющим ловко устраивать свои делишки, не вызывая гнева начальства только потому, что устраивал бы заодно и делишки своего офицера. Былин доказывал землякам, что на военной службе только в денщиках можно хорошо жить:

— Утром встанешь, сапоги начистишь, шаровары вытряхнешь, самовар поставишь, а потом целый день гуляй!

Ему возражали:

— Лучше в строю мучиться, чем в холуях жить.

— Попадешь к такому барину, что по морде каждый час бить будет, сапоги плохо начистишь — по башке сапогом...

— А к другому попадешь, так и он сам и его барыня и дети, — все в морду лезть будут. И обед сготовишь, и самовар пять раз на день поставишь, все полы и всю посуду перемоешь, и на рынок сбегаешь, и десять пар ботинок начистишь, и галоши помоешь, и печи натопишь, да еще столько же работы сделаешь, а все мало будет...

Но Былин не сдавался. Мечта о «лучшей» жизни его не оставляла, и он представлял себе ее воплощение в виде удачной комбинации: быть денщиком, притом обязательно у хорошего, холостого офицера, то есть у Чайки.

Этой мечтой он жил.

Былин знал множество песен и хорошо запевал высоким, здоровенным тенором, страшно форсируя звук, как это делают обычно в украинских деревнях. Остальные подхватывали такими же крепкими, но напряженными до последнего предела голосами, и пели великолепные украинские песни — тепло и хорошо.

Былин, делаясь сразу серьезным, начинал:

Ой, за тым далеким га-аем...

Лицо его от напряжения краснело, на лбу и висках наливались жилы, глаза закрывались.

И все подхватывали:

Ой, за ты-ы-ым далеким га-аем...
Солнышко схова-а-алось...

Голос Былина выделяется, звучит крепко и уверенно, ведя за собой другие голоса. Выражение лица у всех торжественное, необычайное, как будто они делают важное и серьезное дело и сознают все значение момента.

В промежутках между песнями Былин вспоминает свою деревню и рассказывает:

— Эх, гарно у нас спивают! Уси дывчины, як одна, поют! И парубки здорово поют. Вечером соберемся и поем до самой ночи! И писни все хорошие — таких нигде больше не поют.

— Дурнэй ты, Былин. Таки писни, як у вас, по всей Украине знают. Та уси и спивают. А вин — нигде!

Тогда Былин называл десятки песен, которых якобы нигде не знают. Остальные называли свои песни и спорили до тех пор, пока не находили известную всем и начинали ее петь.

И снова несутся молодые, свежие, здоровые голоса, переплетаясь в красивых сочетаниях, захватывая мощью и выразительностью звука и теплым очарованием старинных украинских мелодий.

Наша рота была дежурной на случай экстренного вызова.

Сейчас же после проверки из канцелярии было приказано выслать в лес караул для охраны трупа повесившегося стрелка нашего полка. Лес находился в 3—4 верстах от лагеря. В числе нескольких человек, высланных под командой унтерофицера, был и я. Караульным помещением мы избрали до-

мик лесничего в полуверсте от места происшествия. Пока мы собирались и дошли до места, стало совершенно темно. Лесничий, обнаруживший самоубийцу, привел разводящего и часового к дереву, на котором висел труп. Там они разожгли костер и оставили часового одного. Вернувшись, лесничий рассказывал, как он, обходя свой участок, заметил солдата. Солдат забросил на большую ветвь веревку, притянул ветвь к земле, привязал веревку с петлей и, надев ее себе на шею, отпустил ветвь.

Взлетев, он повис в воздухе, раскачиваясь, и с каждым движением сильнее и сильнее затягивая петлю.

Для того, чтобы выяснить, жив ли еще солдат, лесничий притянул его за ноги к земле. На застывшем, синем лице выкатились глаза и торчал высунутый язык. Веревка вдавилась глубоко в шею, образуя вокруг нее желобок...

Жена лесничего, бледная и испуганная, слушая рассказ мужа, часто крестилась и шептала:

— Господи, помилуй, господи, помилуй! Говорила я ночью: не зря собака воет, не зря, не к добру это, быть покойнику!.. Господи, помилуй!

На дворе лаяла, подвывая, старая, хриплая собака. Было неприятно думать о том, что придется стоять два часа возле самоубийцы, в лесу, в темноте и ждать смены. Мое предложение — стоять сразу по-двое — унтер-офицер, исходя из устава, отверг.

Неожиданно мы услышали, один за другим, несколько выстрелов. Караульный начальник скомандовал: «В ружье». Мы схватили винтовки и побежали вслед за унтер-офицером, по направлению к оставленному часовому. Оттуда раздавались все время тревожные свистки! Былин сострил:

— Не наче, як покойник до витру просится!

— А може, вин очухався, та на Родина, як Вий, набросився?

Унтер-офицер высказал наиболее правдоподобное предположение:

— Вин сам, трясьца его матери, в штаны наклал с перепугу, та и стреляет, бисов сын! Солдат называется!

Прибежав, задыхаясь, на место, мы увидели, что все было так, как час тому назад.

Покойник висел, тяжело и медленно раскачиваясь и пригибая ветку книзу. Дымя, тускло тлел костер, слабо освещая деревья, покойника и часового. Родин стоял, свято чтя устав, там, где его оставил разводящий — между костром и покойником.

Унтер-офицер осветил карманным фонариком лицо часового. Устремленные на унтер-офицера глаза выражали безграничный испуг, лицо было бледно до синевы, нижняя челюсть прыгала, и зубы стучали, как у собаки при ловле мух.

— Ты што стрелял? С ума сошел, што ли? Устава не знаешь? В каких случаях можно вызывать караул?

У Родина язык прилип к гортани. Он не мог произнести ни единого слова:

— Так што... так... як...

— Та не ляскай зубами! Не ляскай «так-як». Говори, як стрелку полагается! Что случилось на посту?

— Так што... не могу знать... Сминте... испужався дюже...

— Спужався дюже, мазница! Што тебе покойник сделае, вин же мертвый! О то ж баба паршива? Сменяйся! Иди, подштанники перемени, наверное в шаровары наклал, як пара быков. Унтер-офицер, делая вид, что не придает никакого значения случившемуся, что все дело только в трусости Родина, велел мне стать на пост.

Но после долгих разговоров он решил ставить парных часовых.

Остались я и Былин. Мы выпросили карманный фонарик.

Вначале Былин притворялся веселым. Он с прибаутками рассматривал, освещая фонариком, лицо покойника, молодое, с чуть темневшим мягким пушком на губе. Оно было обезображено смертью, исказившей все черты его. Раскрытый рот и торчащий черный язык лишали его человеческого выражения, — самоубийца был страшен!

Былин смотрел на него, приговаривая:

— Чудак ты, ваше благородие, скрывывся, як середа на пятницу! Жил бы себе и жил — до самой смерти. А вин взяв да удавывся! Стой теперь коло него...

Он осветил фонариком сапоги покойника и пощупал их:

— Гарни чоботы справив, покойник, царствие ему немецкое!

Но постепенно Былин увядал, и настроение его явно понижалось:

— Наверное новобранец. Не выдержал. Сердце слабое. Загнали, бисовы дити, парубочка в могилу. А мать теперь письма ждать будет... Земляки напишут: немае вашего Грицьки, удавився в лесу на дереве... Ото ж поплачет мать... Эх, чудак ты, чудак.

Пока Былин разговаривал с покойником, я собирал хворост и подкладывал в костер. Огонь вспыхнул, окрашивая в крас-

новатый цвет деревья, висящего солдата, короткие пни и темную зелень травы между деревьев.

Какой мрачной, беспросветной и неприветливой должна казаться жизнь, чтобы в двадцать два года покончить с ней...

Ведь это не городской неврастеник, не разочаровавшийся в жизни и людях старый скептик!

Это молодой, здоровый, крепкий, нетронутый жизнью, деревенский парень!..

Оторванный от привычной среды, брошенный в свирепые руки беспощадных фельдфебелей, унтеров и бездушных господ штаб- и обер-офицеров, он не выдержал тяжести мучений и погиб...

Костер стал угасать. Былин, стоя рядом, дремал.

Вокруг сгустились тени. В лесу поднялся ветер. Деревья шумели, шурша листвой. Я разбудил Былина.

Дерево, на котором висел солдат, гнулось от ветра. Труп, как огромный маятник, широко раскачивался во все стороны и, окрашиваясь огнем костра в розовый цвет, опять утопал в темноте... Слышался треск и шорох, будто близко ломают хворост. От юмора и смешливости Былина не осталось и следа. Он боялся поднять голову и только шептал:

— Чего это смена не идэ? Пора давно сменяться.

Помолчав немного, он, глядя на огонь и подкладывая хворост, говорил:

— Подумаешь, добро какое! Чего его стерегти, кто его возьмет! Кому вин нужен! И сам не сбежит! Карауль, як у денежного ящика или у знамени. Выдумают, ведьмы собачьи...

Костер догорал... От темноты, от воя ветра, от ночных лесных звуков, от близости самоубийцы, упрямо раскачивающегося над нашими головами, было жутко... Мы пригнулись к почти погасшему костру, боясь подняться для того, чтобы итти за новым хворостом.

Но скоро раздались настоящие шаги и живые голоса. Пришла смена.

Былин сразу ожил и начал острить:

— Так што, позвольте доложить, господин унтер-офицер, во время караула покойник соскочил и убежал в лес...

— А что ж это висит на дереве?

— Так што, покойник, с перепугу — забыв шароварь и чоботы!..

Утром прибыли на место происшествия следственные власти, и труп наконец был снят с дерева. Самоубийца оказался молодым солдатом 13-й роты, судьба которого была так же печальна, как и судьба нашего Тюрина. На нем 13-я рота вешала всех собак, как 16-я на Тюрине. Побои, наказания, преследования, издевательства, насмешки были его уделом со дня поступления в казарму и довели его до отчаяния, указав единственный выход.

Я подумал, что Тюрин может сделать то же самое, если его не оставят в покое. Я решил рассказать о нем Чайке. Но это было не просто. Надо знать структуру военной службы, дух и нравы казармы, силу и обязательность чинопочитания, чтобы понять затруднительность или даже невозможность жаловаться Чайке, несмотря на установившиеся у меня с ним отношения.

Однажды Чайка послал меня с запиской к поручику Орлову. Я явился к нему на квартиру и отдал записку его денщику. Стоя в передней, я услышал гул голосов и шум в квартире. Денщик вернулся и сказал, что поручик зовет меня в комнату, чтобы передать ответ лично. Я отворил дверь и вошел. В большой комнате было так накурено, что сразу трудно было что-нибудь рассмотреть. В синеватом табачном дыму, как в тумане, мелькали фигуры офицеров. Здесь были полковой адъютант, штабс-капитан Кокорев, начальник хозяйственной части, подполковник Жгун, командир нестроевой роты Веселовский, начальник пулеметной команды, поручик Соколовский, и много еще знакомых и незнакомых офицеров. На столе, на полу, на окнах, на буфете стояли и валялись десятки бутылок. Пир длился, вероятно, давно, так как почти все, и хозяин и гости, были основательно навеселе, а некоторые здорово пьяны. Я с ужасом заметил в углу комнаты, на диване, того пьяного гвардейского поручика, который недавно гонялся за мной с обнаженной шашкой. Все говорили наперебой, заглушая друг друга. За небольшим ломберным столом, у окна, группа офицеров играла в карты. Один из играющих бросал на стол одну за другой карты, каждый раз ударяя кулаком по столу, нарочито пискливо приговаривая:

— Вот тебе! Вот тебе!

На диване, рядом с гвардейцем, сидел поручик другого полка, в расстегнутом кителе, и играл на гитаре, напевая себе что-то под нос.

Поручик Орлов, стоя за большим столом, размешивал разливной ложкой крюшон в фарфоровой посуде.

Мне пришлось стоять несколько минут, пока он заметил меня и крикнул:

— Вестовой, пади сюда!

Я направился к нему, не зная, на кого раньше смотреть, так как здесь были и старшие по чину офицеры, чем Орлов. Когда я вытянулся перед ним, он вдруг, как будто узнав меня, перестал мешать крюшон и заплетающимся языком закричал:

— А, так вот кого Чайка послал:

И обращаясь в пространство, продолжал:

— Господа офицеры, позвольте вам пред... представить,.. господин поэт... пишет очень, оччень харошие стихи... ей богу... «Атварите мне... темницу, дайте мне ссиянье дня... златагрривую девицу... златогрудую коня»... ей богу...

— А кто он? Откуда взялся?

— А как фамилия? Я всех классиков читал, а его портрета не встречал. Незнакомая личность!

Поручик Орлов забыл о крюшоне и стал объяснять гостям:

— Он у Чайки. Чайка гаварит — талант! Ему куплет написать — рраз пплюнуть! Паслушай, бррател, прачти экс... экспромт, а ей богу! Прачти!

Я боялся проронить слово, чтобы меня по голосу не узнал гвардеец. Но отвечать надо было, и я, стараясь изменить интонацию, произнес:

— Никак нет, ваше благородие, экспромтом не умею.

— Э-э, врешь, врешь, добрый молодец! Читай, когда тебе офицер приказывает!

— Но я экспромтом не умею, ваше благородие.

Меня окружили офицеры. Капельмейстер счел своим долгом также приказать:

— Тебе оказывают честь господа офицеры, ты должен с радостью читать!

Со своего места, на диване, гвардеец вдруг заорал, перекричав всех:

— Уг-гастите его стаканчиком финшампань для куражу, тогда прочтет, мать...

— Верно, верно, надо угостить, пусть пьет, конечно...

Орлов налил стакан коньяку и поднес мне:

— За поэзию, за ппрекррасную, ррусскую поэзию!

— Покорно благодарю, но я не пью...

— Ну, это совсем безобрразие!.. Военный — и вдруг не пьет! Ты позорришь свой полк... Тем более за поэзию...

— Тогда ерша ему, ерша, раз коньяку не хочет!

Меня окружили плотным кольцом и так насели на меня, что я принужден был выпить полстакана коньяку. Меня усадили за стол и стали предлагать закуски. Орлов долил стакан до края:

— Теперь за офицеров нашего полка!

От выпитого у меня кружилась голова. Я знал, что, выпив еще, я буду безобразно пьян, но не принять их тост — значило бы пойти на скандал. Целый стакан коньяку казался мне безумием, и я стал просить перелить коньяк в бокал, но никакие мольбы не помогли, и мне пришлось залпом выпить весь стакан!

— Вот молодец, вот стрелок, я понимаю! Пусть бы Чайка поглядел! Ай да-да!

Я быстро опьянел и хотел скорее уйти, чтобы, еще владея собой, добраться без скандала до казармы. Но Орлов заорал:

— Неет, нет, ты нам еще почитаешь! Садись, садись!

Он толкнул меня, и я сел на диван рядом с гвардейцем. Я был рад, что про меня забыли и что внимание всех перешло на крюшон. Большую посудину опорожнили в две минуты и снова взялись за бутылки. Пили по-армейски, беспорядочно, вперемежку. Капельмейстер, верный своему высокому принципу, пил действительно только водку, закусывая крохотными кусочками огурца или коркой ржаного хлеба. Гвардеец пил только финшампань, закусывая лимоном.

Остальные пили все, не отказываясь даже после крюшона от водки и коньяку.

Я боялся шелохнуться, чтобы снова не обратить на себя внимание. Все предметы предо мной кружились и плясали и казались то огромными, то совсем миниатюрными. Фигуры офицеров не ходили, а плавали в пространстве, делая широкие, плавные жесты. Они не производили шума, не орали, не стучали каблуками, а шум и грохот в комнате приходил как бы извне... Фигуры то наплывали друг на друга, то, мягко отталкиваясь, отплывали, как лодки на реке... Шум голосов, топот шагов и звон посуды гулко отдавались в голове, как в пустом коридоре, и казалось, что звуки шли издалека... Огонь в лампах казался красноватым и был окружен, как ореолом, золотистым туманом...

Незнакомый поручик начал играть на гитаре, как на балалайке, тренькая через все струны пятерней. Адъютант, высокий и широкоплечий, расстегнув китель, стал отплясы-

вать под балалайку русскую. При каждом его движении высоко подпрыгивали аксельбанты, как у пляшущих цыганок — монисты. Под конец устав и окончательно опьянев от вина и пляски, он упал и вытянулся на полу, раскинув руки и ноги, широкий, как гигантский краб.

Поручик Соколовский, опрокинув на полу стул, стал позади него на колени и изображал пулеметный бой, ловко выщелкивая языком звуки выстрелов... Неприятель, видимо, отступал, и Соколовский с пулеметом продвигался вперед, пока не налетел на вражеские укрепления — стол с картами и подсвечниками, который он, лихим ударом в лоб, блестяще опрокинул, вызвав хохот всей компании...

Подполковник Жгун рассказывал Орлову:

— Вы молоды, не знаете жизни... дэ, дэ... А жизнь, знаете, интерресная штука... дэ, дэ... Была у меня девчоночка, мамурочка, знаете, огурчик... дэ... Вот, знаете, бывало, придешь к ней... дэ... а она уже, знаете, в постельке... хе, хе... и, знаете, говорит...

Орлову очень понравилось то, что «она, знаете, говорит». Он долго смеялся, повторяя ее слова.

Хозяин вдруг что-то вспомнил, хлопнул себя ладонью по лбу и крикнул:

— Гаспада, дасспада! Угодно... угодно ли длинтвейну... глинтвейну? А?.. Чорт под-дери, ккак это я раньше не подумал... а? ей богу...

Внезапно вскочил гвардеец и стал кричать:

— Позвольте, позвольте, гаспада, мне приготовить глинтвейн, как у нас в полку... так сказать, по-гвардейски!

— Просим, просим, просим!

— Благодарю за доверие, благодарю, гаспада!..

Орлов и гвардеец торжественно удалились на кухню.

Штабс-капитан Веселовский ползал по полу и изображал пароход. На нижней части спины стояла бутылка с воткнутой в пробку горящей папиросой. Пароход гудел, пыхтел, отплывал от стола, пришвартовывался к дивану и дымил папиросной трубой.

— Ту-тууу, ту-тууу! Пых, пых, пых...

И кто-то напевал:

Пароход плывет по Волге... Батюшки!

Принесли горячий глинтвейн. Он был действительно замечателен, и после него голова стала гораздо свежее. Но

гвардеец окончательно охмелел и начал бой. Он хватал бутылки и, целясь в гипсовый бюст Пушкина, с силой швыряя их, разбил вдребезги бюст и кучу бутылок. Остановить его никто не мог. Ни просьбы, ни окрики не помогали. Наконец, его удалось увести.

В комнате стоял сплошной гул и звон. Было душно, пахло вином, табачным дымом и гарью от погашенных свечей.

Я тихонько выполз и пошел в лагерь.

Я с наслаждением вдыхал свежий, чистый воздух и запах травы. Надо мной, в черном бархате неба, горели далекие огоньки звезд. Голубой, светящийся мелкими точками и разделяющий небо пополам, как гладкая дорога между вспаханными полями, тянулся млечный путь... Я шел, запрокинув голову, и неотрывно, зачарованными глазами глядел на необъятную ширь неба, на бесконечную красоту ночного купола, на горящие миры. Было тихо, совсем тихо. Я не слышал даже своих шагов на мягкой, утоптанной дороге.

По делу о самоубийстве было назначено законное следствие. Вся картина бесправия, произвола, жестокости и беззакония была восстановлена во всей полноте, но на этом дело кончилось; дальше оно, очевидно, не пошло, ибо виновники не только не были привлечены к ответственности, но оставались на своих должностях и продолжали свирепствовать пуще прежнего.

Вскоре случилось еще одно покушение на самоубийство. Молодой солдат этой же роты, стоя часовым на посту у порохового погреба, решил покончить с собой. Он прибег к способу, имевшему распространение в старой армии. Так как стрелять в себя из винтовки, как из револьвера, невозможно из-за длины винтовки, он снял с правой ноги сапог, упер винтовку прикладом в землю, а выходным отверстием ствола в грудь и, поставив большой палец ноги на спуск, нажал на него и выстрелил. Ствол, очевидно, скользнул, и пуля прошла через грудь в плечо, раздробив его. Он не умер, но, надо думать, остался калекой.

В лазарете, в тяжелом состоянии, он был дважды допрошен следователем, на предмет привлечения к ответственности за самовольное оставление поста и за покушение на самоубийство.

За короткий промежуток времени в 13-й роте было отдано под суд еще несколько человек.

Но час возмездия для Григорьева настал...

В открытом поле, недалеко от лагерей, полк производил тактические занятия. Каждая рота разделилась на две и с небольшого расстояния наступала друг на друга. В одной полуроте командовал фельдфебель, в другой — один из взводных подпрапорщиков. И подпрапорщик и фельдфебель находились впереди своих полурот, перебегая вместе со звеном или отделением. Перебегали при наступлении также и по одному. Падая на землю, быстро выкапывали впереди себя углубление и устраивали земляную подушку для прикрытия, используя для этого шанцевый инструмент, лопатки, кирки и мотыги. Перебежав всей полуротой и раскинувшись длинной, редкой цепью, открывали по «неприятелю» огонь — редкий, частый и залпами. Полуроты заметно приближались друг к другу, все время перебегая, падая, окапываясь и стреляя.

Был ясный день. После утреннего дождя, короткого, но обильного, умытая трава и напоенная земля пахли послегрозовой свежестью, нежным очарованием летнего рассвета.

Фельдфебель Григорьев, когда его полурота вытянулась длинной неровной лентой и окопалась, поднялся и, согнувшись, побежал вперед. За ним, по одному с правого фланга, стали перебегать солдаты.

Внезапно Григорьев быстро взмахнул обеими руками и также быстро их опустил, схватившись за живот. Пробежав несколько шагов, он остановился, упал на колени и, нагнувшись вперед, упал ничком, уткнувшись лицом в землю. Фуражка свалилась набок и легла рядом.

Когда добежали до него, увидели, что Григорьев неподвижен.

Солдаты окружили убитого. Быстро собрались офицеры свои и чужие. Кто-то вызвал из расположенного поблизости в лагерях Нерчинского казачьего полка сотню, которая немедленно окружила 13-ю роту, обезоружила ее и арестовала.

Прибыли полковой командир и адъютант. Полковник Манцыферов осмотрел тело убитого. Был ли Манцыферов склонен к эффектным речам и позам, был ли он искренно, как старый стрелок, восхищен метким выстрелом, но, остановившись перед тринадцатой ротой, он громким, командирским голосом крикнул:

— Молодец стрелок! Метко, шельма, стреляешь! В самый пуп, сукин сын, попал! Хороши стрелки в моем полку! Хвалю, хвалю, мать твою в три погибели... Срочно назначить следствие!

И со скорбным лицом страдающего Бориса Годунова он ушел, сопровождаемый адъютантом.

Батальонный командир, подполковник Ляхецкий, отрывисто лаял:

— Какой позор, какой позор! Поднять руку — на кого же? — на начальника! На своего начальника! Фу, фу, фу! Гадость, гадость! Он опозорил весь мой батальон! Интересно — какой он губернии? А? Вдруг земляк — какой позор! Какой позор!

Винтовки второй полуроты были отобраны и отправлены на экспертизу. Были арестованы всего четыре человека, заподозренные в убийстве: унтер-офицер Никитин и три стрелка.

Экспертиза установила, что следы в стволах всех винтовок полуроты указывали на холостые выстрелы; только одна винтовка унтер-офицера Никитина произвела боевой выстрел...

В стволе его винтовки обнаружили темную копоть и отсутствие мелкой бумажной пыли, какая бывает при стрельбе холостым патроном.

Никитина и трех подозреваемых в пособничестве отправили во Владивосток в распоряжение военного прокурора.

Им предстояла смертная казнь.

Странно, что в полку мало говорили о случившемся. Как будто не хотели об этом говорить, обдумывая и переживая все про себя. Или, может быть, никого не взволновала эта история убийства старого разбойника. Никого как будто не восхищал героизм Никитина, единственного восставшего против жестокости фельдфебелья и за два-три месяца до окончания службы отдавшего свою жизнь, чтобы отомстить за безмерные страдания своих товарищей.

Скоро в жизни полка многое изменилось. Мы узнали, правда, с опозданием на несколько дней, о том, что Германия и Австрия объявили России войну. Известие это не произвело особенно сильного впечатления. Мы находились за десять тысяч верст от театра войны, и нам переброска войск казалась немыслимой. Офицеры объясняли, что Германия и Австрия так ничтожны по силам сравнительно с Россией, Францией, Бельгией и Англией, что война должна закончиться в 2 — 3 месяца. О том, чтобы дальневосточные войска были отправлены на фронт, даже думать не стоит. Пока мы соберемся и доедем, пройдет 2 — 3 месяца, а к тому времени, конечно, войне конец.

Стали готовиться к возвращению на зимние квартиры. Дисциплина как-то сразу заметно понизилась. Занятия сократились, офицеры являлись редко, низшее начальство успокоилось. Но часть канцелярская, в отношении всяких приказов, распоряжений, предупреждений и объявлений, начала работать с большой интенсивностью.

Как только перешли на зимние квартиры, стало известно, что есть приказ о выступлении первого сибирского стрелкового корпуса на театр военных действий. Из отдельных приказов по полку, из хозяйственных распоряжений, из частных бесед с офицерами мы узнали, что в августе корпус должен быть уже погружен.

Понемногу занятия прекратились совсем. Часть дня была посвящена хозяйственным делам. Сдавали ротное хозяйство в цейхгаузы, получали обмундирование, сдавали оружие в ружейные мастерские для поверки, упаковывали в тюки и ящики имущество, предназначенное для похода.

Остальная часть дня оставалась для личных дел стрелков. И хоть отпуск со двора был строго воспрещен, солдаты толпами шли на барахолку. У всех солдат были сундуки с хозяйством, с запасом белья, обмундирования, подушками, одеялами и другим добром. Надо было или сдать это на хранение, кли продать, так как с собой, конечно, этого нельзя было брать в поход. За исключением немногих, наивных, уверенных, что полк скоро вернется на старые квартиры, и потому сдававших сундуки с добром в цейхгаузы, все продавали свои вещи и тратили деньги на ханжу, а когда распродали свое добро, стали красть соседское и тащить, что попадет под руку. Уперли и мою пуховую подушку.

Казармы опустели. Часть казенной обстановки была вынесена в цейхгаузы, сундуки солдат также исчезли.

И только видны были группы, иногда трезвых, изредка пьяных, а чаще здорово хвативших стрелков, бредущих по казарме и по двору, беседующих, поющих и просто орущих благим матом...

Полк продолжал готовиться к походу. В полку было около двух тысяч человек, и пополнение, которое мы должны были получить в дороге, давало еще одну тысячу. Хозяйство нашего полка было огромно. Во всех дворах стояли сотни двуколок, продовольственных, фуражных, патронных, санитарных, обмундировочных, канцелярских и прочих. Стояли сотни лошадей — обозных и строевых — для офицеров. Длиной шеренгой вытянулись походные кухни и двуконные подводы. Подводы и двуколки были наполнены продовольствием, фуражом,

обмундированием, патронами, лазаретным имуществом и другим хозяйством и закрыты натянутыми брезентами. Все это находилось в распоряжении начальника хозяйственной части и командира нестроевой роты и распределялось по обозам первого и второго разрядов.

И таких полков, с таким громоздким и неуклюжим хозяйством, с колоссальным мертвым и живым инвентарем, двигалось со всех сторон России на фронт огромное количество. Одна только Сибирь посылала несколько корпусов по восемь полков, кроме артиллерии, кавалерии, саперов и казаков. Какое огромное количество поездов требовалось, если один только полк заполнял несколько составов! И какие огромные расстояния надо было покрыть!

Тюрин получил письмо из деревни. Он долго искал меня, доверяя только мне, и, найдя, увел меня в сад, где я прочел ему письмо:

«Здравствуй милай Колинка дарагой сыночик отписываем тебе сниским паклоном родительское благословение и бапка анисья тоже а вчерась нашева степу забрали в небенизацию сним в город поехала катя провожать забрали тихона никандрова ванюшку дяди Ефрема и кольку ребово а што сказывают вашу армею не возмут упаси тебе господи сыночка нашаво и льготу не дают всех сынов угоняют дома аднех бап аставляют работу некаму справлять только плачим за тебя и степушку все немцы окоянные денег два рубля посылаем и молимся господу богу за детак наших а яще ниско кланица бапка анисья старая все хворает под сердце подпирает намедни кума приходила плакала нету вести от петра отпиши ты нам не велик труд отписать спаси тебе матерь божия царица небесная а еще ниско тебе кланяется дарагой сыночек наш николай-петрович стем до свиданья с любовью твое родители».

Когда я кончил, Тюрин горько заплакал и сквозь слезы пытался по складам разобрать каракули родительского письма, но, ничего не добившись, заставил меня снова прочесть ему письмо.

Таких писем я читал каждый день несколько штук. Скоро начнут приходить письма из дальних мест, с Украины и из центральных губерний.

Мне надо было на них отвечать, а это тяжкий труд.

Чайка готовился к отъезду и разрушал свой домашний уют. Мебель частично оставлял у знакомых, частично в цейх-

гаузах. Одну собаку подарил, другую брал с собой, двустволки и картины упаковал в ящики и сдал в цейхгауз. Мне он заказал с полдесятка прощальных стихотворений на злободневные темы, которые я срочно приготовил ему.

За несколько дней до отъезда начальник гарнизона, в связи с бесшабашным пьянством, скандалами, драками с вышибалами у китайских домиков, шумными очередями у японских домиков, нападениями на китайских торговцев и прочими пьяными историями, самым строжайшим образом запретил отпуска в город. Разрешали отпуск только по личным запискам ротного командира, по служебным делам. По городу бродили конные казачьи патрули, арестовывая и доставляя солдат в комендатуру.

Настал наконец день отправки. С утра на станцию двинулись длинной вереницей бесконечные обозы — двуколки, подводы, походные кухни, возы с прессованным сеном, лошади и скот. На улице — оживление, шум, грохот обоза, пыль, ржанье лошадей, мычанье скота.

Наш батальон выстраивается. Нагружены мы до предела. Кроме обычной амуниции, состоящей из скатанной шинели через грудь, винтовки, лопатки, двух патронных сумок, фляжки с водой, котелка и большого вещевого мешка, у нас еще в руках пакеты и мешки с остатками нашего хозяйства. Набитый вещевой мешок не мог вместить всего, что нужно было захватить с собой. Надо было взять запас белья, полотенце, мыло, ложку, кружку, чай, сахар и прочую мелочь, без которой и дня не обойтись. У солдат был неуклюжий, небоевой вид навьюченных ослов, неповоротливых и малоподвижных.

Раздаются последние для нас на этом дворе слова команды:

— В порядке номеров — рассчитайсь!

— Первый, второй, третий, четвертый!.. сто двадцать первый!

Нас сто двадцать один человек в роте. Фельдфебель проверяет по алфавитному списку:

— Аверьянов!

— Я!

— Аникин!

— Я!

— Архипов, Былин, Белов...

— Я! Я! Я!..

Все налицо.

— Смирна! На плечо! Направо! Ряды вздвой! Шагом марш!

Наш батальон присоединяется к остальным. Впереди полка оркестр. Но перед отправкой опять молебствие «о даровании победы православному христолюбивому воинству».

Нагруженные, навьюченные, отяжелевшие, мы стоим и ждем с нетерпением конца молебствия.

И вот, длинной колонной, поднимая пыль, растянулся полк на пути к станции.

На станции полно народу. Солдат никто не провожает, у них нет здесь родных и близких. Но у всех офицеров, фельдфебелей, сверхсрочно служащих здесь семьи, и все они провожают близких. Шум, крик, толкотня, плач, смех.

На путях длинные составы. В вагонах с обеих сторон по два этажа нар и места для винтовок. В каждом составе вагоны второго класса для офицеров.

Мы занимаем свои вагоны. Сразу становится тесно и душно, несмотря на открытые двери. Вагон полон. Винтовки, скатки, мешки, пакеты заполняют все. Сразу запахло казармой, запахом серого сукна, кожи, ржаного хлеба.

Былин устраивается хозяйственно:

— От туточки в головах мешок, скажем. От туточки повисим котилок. Хай болтается.

Родин сердится:

— Ишь хозяин — хату соби строит. Будто женывся, та новым мистом обзаводится.

— Ну, а як же? Може нам два месяца жить здесь! Обзаведешься!

Я выскочил из вагона. Успею еще насидеться в нем. Денщики Чайки вносят в вагон походную кровать и меховой походный мешок для сна.

Вдруг у вагона появляется моя приятельница — японка. За ней тащат корзинку со сладкими булками и пирожными. Она угощает всю роту.

Чайке, фельдфебелю и мне она принесла торты.

Я отхожу с ней в сторону. Мне неловко. На нас обращают внимание. Солдаты подсмеиваются. Но она не уходит, пока поезд не отправляется.

Ее губы пытаются улыбнуться, глаза застилаются слезой, подбородок по-детски смешно прыгает...

— Ваниська... Твоя уеззай?.. Твоя моя забудь?.. Да?.. Забудь?.. Моя глаза твоя не видай? Никогда не видай?..

Я смотрю на бегущие по щекам слезы, на дрожащий подбородок и думаю о том, что никогда больше не увижу этого милого лица.

Но я никогда не забуду привязанности нежной женщины с густыми черными волосами и золотистыми огоньками черных глаз...

На всю жизнь сохраню я в памяти своей маленькую фигурку и этот последний горячий лепет...

Наконец, последний приказ — горнисты играют сбор. Фельдфебели кричат:

— Садись! В вагоны! По местам!

Паровоз гудит, дергает, вагоны скрипят, и поезд медленно отходит. Солдаты орут ура, с перрона машут шапками и платками. Многие бегут за вагонами.

Станция медленно уплывает назад и исчезает...

Нет больше Никольска. Нет казарм, строя, учения; нет китайского базара, нет японской кондитерской...

Утром, на небольшей станции, остановка. Мы выползаем из вагонов. У круглой водокачки, из длинной загнутой вниз трубы хлещет громадная струя воды. Никак не умыться. Подставляешь ладони, а вода разлетается брызгами во все стороны, обливая всех. Намокшие и плохо умытые, мы бежим с чайниками и котелками к кипятильнику. У вагонов толпы китайцев продают белые сайки. Высокими, пронзительными голосами они орут;

— Сааа-ика! Сааа-ика! Халоса сааанка!

Былин весел и жизнерадостен, как жеребенок. Он орет, поет, хохочет. Яркое солнечное утро, холодная вода, молодость, природный оптимизм будоражат его и веселят.

Он завел беседу с китайцем:

— Ходя, ты какой губернии?

— Олеха, семяшка, яблоки.

— А какого уезда?

— Копейка два штука.

— А какой волости?

— Сама сволоча... Зачем лугаеса? Да?..

Былин хохочет.

К нашему вагону подходит фельдфебель:

— Здравствуй, Расхвель!

— Здравья желаю, господин фельдфебель!

— Ну, как ехать? Ничего?.. На следующей станции явиться к ротному. Спрашивал тебя.

— Слушаю!

Чайка накупил кучу красивых почтовых открыток и просит писать ему дорожные стихи.

— Вот, пожалуйста, по поводу белых гвоздик... Это очень красиво, не так ли?.. И рисунок удачный. Потом... Помните, вы составили список нот, которые я выписал из Москвы? Там была «Элегия» Рахманинова... Однажды вечером она мне играла ее... Вот, пожалуйста, если можно...

Чайка чуть-чуть краснел, чувствуя некоторую неловкость, но отказаться от стихов не мог. Тем более, что и прервать внезапно посылку стихов нельзя было...

Я изготовлял стихи в популярно-лирическом стиле, близком к жанру любовного романса. Это было несложно и больше всего удовлетворяло его и, очевидно, его подругу.

Мою попытку устранить элемент сентиментальности, освежить и осовременить форму стиха он мягко и вежливо отверг.

На остановке я принес ему стихи:

Этот нежный пучок белоснежных гвоздик
Мне напомнил о счастьи разбитом...
Я с трудом заглушал сердца горестный крик,
Терпким ядом разлуки облитый...

Пусть тебе он напомнит о радостных днях
Наших первых и нежных свиданий...
О счастливых, далеких, ушедших часах
Лучезарных, как сон, ожиданий...

Этим стихотворением он заполнил открытку с гвоздиками. Другое он приготовил к отправке на следующий день:

Я сегодня весь день вспоминаю с тоскою
Тихий вечер, тебя и рояль у окна...
Ты аккорды элегии нежной рукою
В мое сердце впервые влила...

Я люблю эти звуки осенней печали,
Их глубокую скорбь по ушедшей весне;
Их тоску по мечте, по неведомой дали,
По всему, что бывает лишь в сладостном сне...

Я нашел свою душу в аккордах мятежных
И тщету светозарных порывов моих;
Я в них повесть нашел о страданьях безбрежных,
И о многом, чего не расскажет мой стих...

Здорово завинтил! Чего не сделаешь для хорошего человека. А главное — чтоб заказчик был доволен!

А вот Харбин. Кажется, совсем недавно я проезжал мимо по дороге в Никольск! Мелькали город за городом, станция за станцией. А теперь все опять, только в обратную сто-

рону. Как будто пьяный механик пустил ленту не с того конца...

Солдаты, высунувшись, смотрят на высокие здания домов, на куполы церквей и хором орут:

— А церквей-то, церквей... твою мать! А б... в-то, б... в, боже мой!..

Эту коллективную полковую остроту, пущенную с чьей-то легкой руки, сделали обязательной, и, приближаясь к какому-нибудь городу, неукоснительно повторяли...

Насколько Былин весел и радостен, настолько Тюрин печален и угрюм. Он целыми днями сидит или лежит в своем углу, благо его оставили в покое. Былин беззлобно его задевает и тормошит, не давая ему, как он объясняет, «с тоски удавиться».

— Тюрин, а Тюрин! Да тебе я, пузатая кобыла, говорю или нет? Тюрин!.. Да отвечай же!

— Ну, чего тебе?

— Знаешь ты, куда едешь? А? На войну! Воевать будешь. Ружейные приемы помнишь? На ру-ку! Коли! Раз-два! Прямо в пузо немцу! Потом другого, третьего! Крест получишь — домой героем приедешь!

Взводный отзывается:

— Эта задница пока повернется, сам на штык напорется, вся вода из него вытечет. Сразу худой станет!

Родин относится к событиям спокойней:

— Зря катаемся. Пока доедем, война кончится. Погуляем и обратно поедем. А в военное время день за два считается, — приедем, а там и домой! Вот и вся война! Спасибо немцам.

Кто-то отвечает:

— Таким дуракам, как ты, — всегда первая пуля... Домой! Вот дурак!..

— А што думаешь? Разве немец противу нас может долго устоять? Наших понапрут, откуда хочешь. С России, с Дальнего Востока, с Сибири, с Туркестану, с Кавказу...

— Ну да, ты скажешь, с Кавказу! А турки... собачий? Еще туды подмогу посылать надо.

— Зачем посылать? Турок флотом угробить можно...

— Не, брат, Россию никто победить не может!

Он, видно, плохо знает историю русских войн.

На больших перегонах Былин возмущается:

— Що це за вагоны, до витру нимае куда сбегать. Жди пока вин стане... А мени, може, зараз треба.

— Зараз... чушка полтавская? Натрескается сала, аж выпирает, а потом, как пушка, бухает...

Мы приближаемся к огромному селу. Нет, это городок! Солдаты у окон и дверей. Опять старая острота с незначительной вариацией:

— А церковь-то одна только...

Заблестела река. Это Баляга или Макырта. Мы подъезжаем к Петровскому заводу, Верхнеудинского округа, Забайкальской области. Сюда были сосланы некоторые декабристы, и жители показывают на горе в лесу их могилы. Покосившиеся и позеленевшие, покрытые мохом камни со стершимися от времени надписями...

На всех путях длинные составы, наполненные солдатами. На дороге образовалась значительная пробка. Сотни поездов с эшелонами сбились на ближайших станциях. Мы простоим здесь три дня. Благо торопиться некуда...

Так ехали мы уже много дней и много ночей.

Наконец, засинел Байкал. Едем вдоль берега. Поезд влетает в длинные, темные туннели и вновь вылетает на солнечный простор Байкала. Огромное озеро, точно море, без берегов, и, точно на море, синие волны с белыми гребешками, и над волнами детский плач белых чаек.

Многие окончательно загрустили в ожидании свидания с родными. Теперь почти на каждой большой станции, когда подходил эшелон, стояли толпы крестьян и ожидали своих сыновей.

Нашего Тюрина родители с трудом разыскали. Они поджидали эшелона четыре дня, а когда поезд пришел, чуть-чуть не прозевали сына. Встреча была тяжелая. Мать Тюрина, еще не старая женщина, вцепилась руками в сына и, рыдая навзрыд, причитая и истерически всхлипывая, кричала:

— Куда вы дите мое забираете? Куда?.. Оставьте вы Коленьку моего... Оставьте...

Отец стоял молча и мял фуражку. Он низко опустил голову и слезы длинной ниткой текли по щекам и бороде...

Подошел Чайка:

— Ладно, ладно, матушка, не плач! Привезем тебе сына обратно.

Мать не отпускала Тюрина и, гладя руками его мокрое от слез лицо, кричала:

— Ребеночек мой маленький... Куда тебя берут от меня?

Потом она передала ему образок от бабки Анисьи, долго крестила его и просила Чайку:

— Ваша милость, сберегите Коленьку, пожалейте, ваша милость, спрячьте вы его там...

Когда поезд отходил, она пробежала немного рядом с вагоном, потом упала ничком и, подняв лицо, кричала:

— Дите мое, дите мое...

На следующий день, на большой оживленной станции, у вагонов 13-й роты появились родители унтер-офицера Никитина, обвиняемого в убийстве фельдфебеля. Они ничего не подозревали. Когда им рассказали о сыне, отец, седой старик, страшно побледнел, долго ничего не мог сказать и шевелил посиневшими губами. Мать, очевидно глухая, вопросительно смотрела на старика, ничего не понимая. Долго они так стояли, пока старик с трудом проговорил:

— Адресок, ребятка, можно? Где его найти?

Ему объяснили. Они постояли, потом ушли, и, снова вернувшись, стояли до отхода поезда. Понял ли старик, что грозит его сыну?..

В Самаре мы получили пополнение из запасных. Какая ирония судьбы — большинство запасных — немецкие колонисты.

Но вот мы в Польше. На какой-то станции мы стоим несколько часов. Затем приходит телеграфный приказ — полку выгружаться и походным порядком срочно выступить в Варшаву. До Варшавы сорок верст.

Тридцать шесть суток мы ехали от Никольск-Уссурийска. Выгружаемся из вагона. Надеваем шинели и всю амуницию. Все неудобно, неладно, не пригнано. Ружье непривычно тяжело.

Полк выстроился на шоссе, и голова его уже скрылась в лесу. Позади нас тянется длинный обоз. Ротные на лошадях. Чайка, плотный и широкий, раскачивается на рыжей английской кобыле.

Мы идем почти без остановки. Час марша, пять минут отдыха. Только к вечеру мы делаем длительный привал. После теплого дня наступил прохладный вечер. С полей потянуло запахом скошенного сена, потом запахло яблоками. Мелькнули огни фольварка, окруженного большим фруктовым садом.

Глубокой ночью мы входим по шоссе на широкие мощеные улицы большого города... Трамвайные пути прорезают мостовую. Многоэтажные дома сжимают улицы. Блестят огромные зеркальные стекла магазинов. Это Варшава.

ОКОПЫ

Ночью мы вышли из Варшавы, оставив позади себя огромный, ярко освещенный, блестящий и шумный город, в котором ничто не говорило о близких военных действиях.

Многоэтажные дома с сверкающими зеркальными окнами и широкими подъездами; золоченые буквы кричащих вывесок; тысячи огней магазинов, кафе, кино, баров и театров; шумные толпы на тротуарах центральных улиц, звон переполненных трамваев, давящий мост через Вислу, фабричные трубы и нищенские дома предместий, — все позади.

Мы медленно движемся, подолгу стоим и опять идем, усталые от многочасовой ходьбы и двух бессонных ночей.

К рассвету мы в восьми верстах от Варшавы. Спокойно, как на тактических занятиях, нам приказывают рассыпаться в цепь вдоль низкой насыпи узкоколейной железной дороги.

Стоит великолепный осенний день, прохладный и свежий. Золотое солнце, играя в миллионах росинок, ослепительно сверкает. От глубоко вспаханной земли, черной и влажной, идет ни с чем несравнимый, крепкий и острый запах.

Наш батальон на правом фланге. Шестнадцатая рота крайняя. Я лежу рядом с Былиным, Родиным и Чайкой.

Против нас, в полуверсте, параллельно железной дороге, тянется редкий лес.

Внезапно, как страшный удар по голове, в лесу раздается ружейный залп... И сразу второй, третий...

В нашей цепи слышатся крики и стоны. Кто-то кричит:

— Ой, убили, убили, спасите...

И дальше по всей линии несется:

— Ой, ой, ой, А-а-а...

Чайка кричит, как на учении:

— Прицел тысяча триста, шеренгой, рота — пли!

Раздается сухой, неровный, рассыпчатый треск.

— Стрельба пачками, рота — пли!

Из леса слышна частая ружейная стрельба. Мы видим, как по лесу перебегают, почти не сгибаясь, прячась за деревьями, немецкие цепи. В нескольких местах, к самому краю леса, подкатывают пулеметы и открывают сильный огонь. Над нами, совсем низко, вдоль цепи, летит аэроплан, обстреливая цепь...

Чайка кричит, надрываясь:

— Передать батальонному по цепи: неприятель обходит, фланг оголен!..

Появляются санитары с носилками. Уносят раненых. Санитары кричат:

— Перевязочный пункт в деревне!

И вдруг крик по цепи:

— Отступить за кирпичный завод!

Мы поднимаемся и бежим назад. У прикрытия остается несколько фигур. Это убитые.

Нагруженные всей амуницией, своим нерастерянным еще хозяйством и запасом продовольствия, мы бежим медленно. Полы длинных шинелей болтаются, мешая шагу.

Ротный пятнадцатой роты бежит рядом со мной и кричит вперед:

— Рассыпься, сволочь, рассыпься!.. Сбились, как бараны! Мишень устроили! Рассыпься!..

Но люди не слышат. Густой толпой, сплошной подвижной серой массой они устремляются к зданию завода. Внезапно толпа шарахается и рассыпается в стороны... Немецкие пулеметы взяли верный прицел, подрезая толпу, как ножом, оставляя на черной земле большие серые пятна солдатских шинелей...

Мы ползем медленно, волоча мешки по земле. Котелки и фляжки цепляются и мешают. К рукам и к винтовкам прилипают комья сырой земли.

За кирпичной стеной спокойнее. Стрельба утихла. Полк медленно собирается. Все ищут свои роты.

От пережитого у большинства ослабли кишечники. Длинными рядами, под заборами и стенами завода, задрав шинели и спустив штаны, сидит храброе воинство.

Появился батальонный командир. Он обращается к батальону, отрывисто лая:

— Братцы! Поздравляю вас... с боевым крещением... желаю вам быть... храбрыми и верными слугами царю и отечеству... Мы отступили потому, что... не подоспели еще артиллерия и казаки... К ночи... они прибудут.

Но, очевидно, его кишечник не крепче других, и он быстро скрывается, исчезнув за какой-то стенкой.

Подсчитывают солдат...

В нашей роте нехватает десяти человек.

Вечером мы узнаем, что ранено шестеро, убито четверо... Среди них Тюрин...

Пуля попала ему в темя и вышла над затылком. В руках у него зажата винтовка с неиспользованными патронами...

Мы движемся уже много часов. Часто останавливаемся, подолгу стоим на месте, садимся и ложимся прямо на землю, засыпаем и снова движемся, с трудом поднимаясь. В суставах бедер и колен как будто насыпан песок, сухо и неприятно.

Рядом со мной качается в седле Чайка на тонкой рыжей кобыле. Кожа нового английского седла скрипит, как баржа на реке, уютно и монотонно...

Чайка теперь капитан. Он засиделся в штабс-капитанах и рад производству, нагнавшему его в дороге.

Он дремлет в седле и, просыпаясь, окликает меня. Он что-то говорит, но совсем не слышно, и, очевидно, опять засыпает.

Мне вспоминается Тюрин. Мерещится его окровавленная голова и тяжелое, неподвижное тело, вдавившееся в полотно носилок...

В памяти выплывает далекая сибирская станция.

Я вижу мокрое от слез лицо его матери и слышу ее голос:

«Дите мое, дите мое...»

Тюрина больше нет. Его тело лежит в братской могиле, наскоро вырытой и гостеприимно вместившей пятьдесят солдат нашего полка...

Еще утром, за час до боя, он наливал мне в чашку из своего котелка кипяток и говорил:

— Хлябай, парень, хлябай горяченького.

Медленно светает. Позади нас появляются багряные полоски, и под ними небо из темносинего становится зеленовато-голубым и прозрачным. Впереди небо совсем еще черное, и крупные звезды медленно тускнеют. Мы идем на запад.

Вдруг, впереди, слева от колонны, шагах в пятистах от нас, вздымается огромный столб пыли, огня и черного дыма. Над дымом загремело, как в грозу. Колонна дрогнула и шарахается вправо от дороги. Полк останавливается. Проходят две, три минуты. Высоко в воздухе проносится тяжелое жужжание, будто летит гигантская пчела, и в тот же миг раздается грохот, разрывающий уши и ударяющий в голову... Справа от нас взлетает от земли высокая огненно-черная башня и, рассыпавшись, падает каскадом, превратившись в мелкие куски земли и пыли... Полк бросается

обратно на дорогу. Мимо нас мчатся конные ординарцы, разведчики и адъютанты.

Немцы нащупывают колонну; еще два-три выстрела — и мы будем под огнем тяжелых орудий. Но мы стоим неподвижно. Вдруг вся рота как по команде пригибается: над нами с визгом и воем разрезает воздух чемодан и далеко позади нас врывается в колонну...

Мы видим опять черный столб и взлетающие в воздух человеческие фигуры, нелепо разбросавшие руки и ноги. Взлетают камни, комья земли, винтовки, лопатки... Когда дым и пыль рассеиваются, мы подбегаем к месту взрыва и видим посреди дороги глубокую, большую воронку и в ней изорванные тела, руки, ноги и рассыпанную амуницию... Подальше от воронки корчатся и стонут тяжко раненые. Не дожидаясь санитаров, мы хватаем раненых и тащим их к обозу. Вместе с солдатом 15-й роты я хочу поднять лежащего на краю дороги и стонущего раненого. Но каждое прикосновение к нему вызывает боль.

— Оставьте... Не троньте... Дайте помереть... Ой, ой, ой...

Сквозь разорванные сапоги и шаровары ручьем течет кровь. Тщетно мы хотим найти рану — он не дает прикоснутся к себе. Потом он начинает хрипеть... Лицо его быстро синеет, губы становятся почти черными, глаза западают...

Он шепчет, сразу потеряв голос:

— Пить... Господи... Пить...

Я вливаю ему в рот воду из фляжки. Он жадно пьет... И вдруг отваливается. В горле что-то клокочет... Он расширяет глаза, делает попытку подняться, медленно и глубоко вдыхает воздух, долго не выпускает его и, выпустив, как будто застывает. Глаза стеклянеют, нижняя челюсть опускается, язык западает... В горле что-то щелкает... Он больше не дышит. Только долго еще бьется жилка на шее...

Бегут санитары с носилками. Появляются врачи и фельдшера. Со всех сторон несутся стоны, крики и плач.

Части отводят в сторону от дороги. Там же, в стороне у холма, копают могилу. Солдаты и санитары приносят убитых. Большинство без рук или ног. Многие с развороченными внутренностями. Один труп без головы.

К месту взрыва снаряда подъезжают двуколки и санитарные линейки. Туда укладывают стонущих раненых.

Они кричат воющими, животными голосами.

В шагах десяти от воронки на разостланной белой клеенке — тяжело раненый. Шинель, мундир и шаровары разодраны в клочья. Санитары обрезают лохмотья, намокшие в крови.

Посреди живота, чуть ниже пупка, у него разорваны мышцы, и сквозь дыру, размером в кулак, видны внутренности, облитые густой, темнокрасной кровью. При каждом выдохе внутренности поднимаются и выпирают из живота, выдавливая сгустки крови... Огромный кусок марли, наложенный на рану, намокает в крови и западает внутрь. С большим трудом врачу удается перевязка. В горло раненого вливают коньяк. Потом его переносят к линейке и укладывают.

Но ему ничего больше не нужно.

К могиле сносят руки и ноги, потом убитых укладывают в большую квадратную яму, кладут туда оторванные части тела и засыпают. Томительно тянется панихида.

Мы стоим здесь много часов. Нам объясняют, что немцы, не встречая препятствий, подходили к Варшаве. Теперь, напоровшись на сибирские войска, отступают. Тяжелой артиллерией они хотят нас задержать, но мы их скоро нагоним...

Покорнейше благодарим. И Былин то же самое говорит:

— Спасибо батьке твоему! «Скоро нагоним»... А на який бис его нагонять, вин же стрелять будет? Хай идэ до дому.

Премудрость стратегии нам непонятна. Преимущества наступления нас не увлекают. Мы — простые смертные и больше всего на свете боимся пулеметов и орудий...

К вечеру мы выходим на дорогу.

Мы снова движемся в темноте, не видя ничего ни справа, ни слева. Мы почти не разговариваем. В душе нет ни жалости, ни испуга, ни сострадания. Хочется спать, только спать. Глаза слипаются, веки тяжелеют, зевота сводит челюсти. Пусть будет, что будет, только бы уснуть. Спать, спать...

Нет конца дороге. Мы проходим десятки верст. Затекают руки от винтовки. Ноги натерты до крови и волдырей.

На рассвете мы входим в старый, высокий и густой лес.

Пахнет сыростью, прелыми листьями, мхом и запахом увяданья осеннего леса. При каждом порыве ветра скрипят и качаются высокие деревья и осыпаются крупные золотисто-

розовые листья. Они долго кружатся в воздухе и медленно падают на землю...

Лес скоро кончается. Голова колонны уже вышла в открытое поле. Мы слышим шум далекой ружейной и пулеметной стрельбы. При каждом порыве ветра звуки доносятся сильней.

Полк останавливается.

Нам приказывают рассыпаться по лесу цепями в несколько рядов и продвигаться вперед. Мы ступаем по мягкому мху, прыгаем через пни и сваленные деревья, спотыкаемся об обнаженные корни и стараемся не потерять друг друга.

Частая стрельба слышна совсем близко. Мы выходим из лесу и видим далеко впереди согнутые фигуры перебегающих цепями в несколько рядов солдат. Проходим еще с полверсты и останавливаемся. Впереди нас никого нет, — цепи передвинулись куда-то вправо. Нам приказывают окопаться. Положив винтовки, сняв вещевые мешки, мы спешно роем окопы по начертанным на земле линиям. Острые лопатки врезаются во влажную землю и выбрасывают вперед крупные комья. Позади окопов режут четырехугольные куски дерна для маскировки насыпи. Мы скоро устаем и обливаемся потом, но нас подгоняют, и мы не останавливаемся, пока не кончаем работы.

Окопы готовы...

Мы уже два дня не ели горячего, так как кухни не поспевают за нами. И сейчас кухонь не видно. Солдаты бегут в лес, раскладывают костры и готовят в котелках чай. Первым возвращается Былин с котелком, наполненным горячим чаем. Его давнишняя мечта наконец принимает реальные формы, — он становится постепенно денщиком. Старый деньщик Чайки совсем не приспособлен к походным условиям. Былин же, примчавшись с котелком, немедленно доставляет его ротному, разыскивает старого денщика, достает мешок с продовольствием и не отходит от Чайки, пока тот не заявляет, что совершенно сыт.

Не все пьют чай. Многие сразу ложатся на землю и в тот же миг засыпают крепким сном.

Но долго спать не приходится. К вечеру нас поднимают, и мы опять движемся длинными цепями вперед. Мы шопотом окликаем друг друга, теряем свою цепь, попадаем в другую, чертыхаемся, падаем, влетая одной ногой в глубоко взрытую землю.

В воздухе что-то шипит, и при взлете осветительной ракеты мы видим огромную площадь земли и наши неровные, разорванные цепи...

За первой ракетой взлетают другие. Поле освещено, как днем. Мы быстро ложимся. Мы попадаем под бешеный ружейный и пулеметный огонь. Слышен тонкий свист пролетающих пуль: фьють, фьють... Мы инстинктивно ложимся плашмя, стараясь врыть голову в землю...

Кто-то закричал вблизи пронзительным голосом:

— Санитара, санитара, ранили!..

И потом долго, до хрипоты, все тише и тише:

— Ах, ах, ах, возьмите, возьмите...

Из-за шума стрельбы его уже совсем не слышно.

Стрельба не стихает. Ракеты беспрерывно освещают поле. Длинный и широкий луч прожектора перескакивает с места на место и щупает каждый уголок. Я рою впереди себя землю и делаю прикрытие для головы. Стрельба и крики продолжаются.

Кто-то надрывается справа:

— Передай по цепи — отступить в свои окопы.

Я передаю влево, стараясь перекричать шум:

— Отступить в окопы!..

При вспышке ракеты я вижу ползущие назад фигуры. Все поле живет и движется.

Ползти по вспаханному полю трудно. Забрасываю каждую минуту мешок на спину, но он упорно сползает назад. Колени наступают на шинель, не давая двинуться. Мешает винтовка. Руки устают и слабеют...

Мы добираемся до своих окопов. Роты смешались. Слышны окрики:

— Пятнадцатая, где пятнадцатая? Здесь какая? Какой батальон? Где перевязочный пункт?

Стрельба утихает. Только лучи прожектора бороздят поле, и вспыхивают в разных местах ракеты.

На поле осталось много убитых и раненых. Оттуда доносятся крики и нечеловеческий вой...

Наконец, группою появляются санитары. Они боятся обстрела. Но немцы не мешают убирать. Раненых проносят мимо нас, и крики их слышны, пока они не скрываются в лесу, где расположен перевязочный пункт.

Я нахожу свою роту. Кроме оставшихся на поле, многие попали в другие роты. Чайка, Гончаров, Былин, Родин. Василенко — здесь. Я сажусь в окопе отдохнуть и засыпаю,

Но спать не дают. Кто-то упал на меня и больно ушиб голову. Я просыпаюсь. Сразу не могу понять — где я. Впереди черные влажные стены окопа, в нос бьет сырость и холод погреба.

И только над головой, в темносинем небе мерцают большие звезды...

Я стою в окопе и не могу оторвать глаз от синего простора неба и блеска далеких звезд... Какой покой, какой бесконечный покой...

Утром снова вылезаем из окопов и, как вчера, длинными цепями движемся вперед. Проходим по тем местам, где вчера ночью наступали. По всему полю нарыты крохотные прикрытия, спешно под огнем возведенные голыми руками. Мы доходим до неприятельских окопов. Бруствер окопа замаскирован дерном, ветками и листьями; даже на близком расстоянии он сливается с зеленью поля. Взбираемся на возвышение и перескакиваем через окопы. Тихо. Никого нет.

Нас удивляют неприятельские окопы. Они укреплены досками, балками и свеже напиленными деревьями. Во многих местах навесы, глубокие ниши для патронов, ходы сообщений. А ведь останавливались немцы только на несколько часов, чтобы задержать наше преследование. И ушли-то они, видно, совсем спокойно. Ничто не брошено, не оставлено, не забыто. Только пустые консервные коробки валяются кругом.

Былин недоумевает:

— Може, тутечки нечиста сила вчера стрелляла? Як вони, бисовы дити шпарыли, а сегодня як будто никого ни було. Аж уси гильзы подобрали. Ну и народ!

Василенко в восторге от окопов:

— Быдто хату строили, ей-бо! И крышу, и ступеньки, и нужник... Тилько окон не мае. Дюже грамотный народ, ученые, собаки.

Мы идем дальше. Неприятель очевидно далеко, и мы выходим опять на дорогу, растянувшись бесконечной лентой.

Мы голодны. Нас совсем не кормят. Наши собственные запасы съедены. Достать новые негде. А кухни где-то болтаются, и мы третий день не получаем горячей пищи.

Позади нас огромный, богатый, нетронутый войною город. Тысячи продовольственных магазинов и складов, ненарушенный еще интендантский аппарат, штабы, пункты, управления; позади нас — по закону в тридцати верстах — обоз

второго разряда, и в пяти — первого. Дороги еще не разрушены, мосты не взорваны, пути неприятелем не заняты, а кухни добраться до своих частей не могут.

На горизонте вырастают трубы с вьющимся дымом. Нас радуют и волнуют человеческие жилища. Может быть мы отдохнем и насытимся.

Входим в местечко Бяла. Маленькие, грязные домики крыты серой соломой или камышом. В окнах, вместо стекол, торчат грязные подушки и тряпки. Покосившиеся углы и стены подперты досками и, кажется, вот-вот обвалятся.

По улицам бегают босые, несмотря на холод, ребята с торчащими сзади из штанишек грязными рубашонками. Из домов выглядывают старики и женщины. Дальше, к середине местечка, дома побольше, с деревянными позеленевшими крышами, с крылечками и стеклами в окнах. Но на всем печать убожества, нищеты, нужды, непролазного горя, забитости и приниженности. На лицах женщин испуг, тревога и беспокойное ожидание непоправимого несчастия...

Солдаты разбегаются по местечку в поисках съедобного. Но лавки уже опустошены и закрыты. Бегают по домам, достают молоко, булки, масло и колбасу. Воруют кур и уток, которых жители тщетно прячут; от солдатского глаза ничто не укроется.

Былин раздобыл гуся, уверяя, что купил за восемь гривен, и немедленно зажарил его, удивляя Чийку поварским искусством. Мне он сознается, что гуся он спер, когда хозяйка отказалась его продать. Но я думаю, что он и не пытался его купить...

Мы сыты сегодня и бродим по местечку, слоняясь от скуки и безделья. Жители нас боятся, и загоняют в сараи и хлева птицу и поросят.

Былин поставил себе целью украсть пару поросят и зажарить их впрок на черный день. Таких запасливых, как он, вероятно в полку немало.

За мной весь день по пятам бродит запасный Иоганн Кайзер, самарский колонист, бритый, сухощавый и крепкий. Во рту у него вонючая и обкусанная трубка; зубы у него крепкие, короткие и желтые, и говорит он низким однотонным басом.

По-русски он изъясняется ужасно, так же как я по-немецки, и это служит основой нашей дружбы. У него жена и трое детей. Его два брата тоже призваны. И во

всех трех семьях не осталось ни одного мужчины. Уехали они все почти одновременно, в разгар полевых работ. Это его больше всего беспокоит. Работников теперь не найти, а дети маленькие. И умереть страшно только потому, что останутся маленькие дети.

Былин и другие солдаты, ворующие гусей, внушают ему отвращение. Его хозяйское сердце деревенского собственника негодует.

— Как можно, — говорит Кайзер, — ведь хозяину с трудом дается каждая копейка. А он сразу гуся украл.

— Что же делать, Иоганн, он кушать хотел.

— Он получил сегодня обед из походной кухни.

— Ничего не поделаешь — здесь война.

— На войне тоже можно быть честным.

Колонист упрям. Его не переубедить. Я спрашиваю его:

— Сознайся, Иоганн, ты хотел бы, чтобы немцы победили?

— Нет, зачем... Одно добро... Я хочу, чтобы кончилась война.

— Я понимаю. Но немцы ведь — свои! А русские — чужие?

— Знаешь... Я тебе сказку скажу... Поспорили телега и сани — кто лучше. Сани говорят — я лучше, а телега говорит — нет, я лучше... Пошли они к лошади... Спрашивают: «Скажи, лошадь, кто лучше — сани или телега?». Лошадь жует сено, думает и говорит: «Знаешь что. Оба вы, сволочи. Тебя надо таскать... и тебя надо таскать». Вот. Понял? Хорошая сказка...

— Ай, хороша сказка! Вот хороша!..

Бородатый солдат из запасных, темноглазый и скуластый Артамонов, обычно серьезный и невеселый, улыбается.

— Ну, спасибо, Кайзер, удружил! И ты, говорит, сволочь и ты сволочь... Обоих, говорит, вас таскать надо... А хорошо бы им, Кайзер, обоим по шеям надавать?.. А?.. На кой вы ляд нужны!.. Сами на себя работать будем. К чортовой матери таких хозяев — сами себе хозяева...

Вечером я лежу рядом с Кайзером, поперек широкой перины, брошенной на пол. Старик-еврей, с длинной желтовато-седой патриаршей бородой, рассказывает о внуке.

«Он учился в духовной школе, в ешиботе... Он так умен, так глубоко постиг тайны Талмуда и Раше. Он их толкует, как глубокий мудрец... В двадцать два года он знает больше, чем другие раввины на старости. Его хвалил

сам виленский раввин... О нем мечтал, как о муже своей дочери варшавский богач и хасид Давид Перельман... А теперь его взяли в солдаты и отправили в Киев, а оттуда на австрийский фронт. Но всевышний его не оставит... Он будет всегда с ним...»

Старик еще что-то говорит хрипловатым голосом, но я уже слов его не слышу и блаженно засыпаю.

Нас поднимают на рассвете, и мы выходим из местечка, приютившего и накормившего нас.

Блестят стекла окон при розовом свете восхода, мелькают крыши и серые дымки из труб.

Бяла исчезает за мягким горизонтом.

Мы проходим за день мимо многих деревень, фольварков и местечек. Мы идем по пятам немцев. Куда бы мы ни пришли, нам говорят, что «они» несколько часов тому назад ушли. Везде следы их пребывания: пустые консервные коробки и картонки из-под почтовых посылок. Немцев пока кормят хорошо. Они сыты и не трогают населения. Крестьяне боятся отзываться о них хорошо, но в откровенной беседе говорят, что русские за несколько часов принесли им больше вреда, чем немцы за все время. От нас все прячут. Даже продавать не хотят, боясь грабежа.

Я захожу с Кайзером в халупу. Мы просим продать нам яйца.

— Ниц нима, ниц. Всишки прокляты пруссаки злопали.

— Да мы заплатим, вот деньги, не бойтесь.

— Ниц нима, всишки злопали, и курки, и гензы, и яйки...

Хороша о нас слава пошла, нечего сказать!

В одной халупе, где нас с Чайкой хозяйка уверила, что у нее «ниц нима», ночью, под кроватью, на которой мы спали, разодрались спрятанные там куры, подняв бешеное кудахтанье. Хозяйка перепугалась, но Чайка только хохотал до слез.

Минуя деревню, в которой мы узнали, что немцы только что ушли, полк выходит в поле, сразу рассыпаясь в цепи.

Впереди, параллельно нашим цепям, тянется линия невысоких холмов. Мы приближаемся к ним. Нам приказывают дойти до вершины холмов и оттуда броситься в атаку, пока немцы не успели окопаться.

Бледные, трясущиеся, с блуждающими глазами, мы невольно замедляем шаг. Нас подгоняют.

Рядом со мной Василенко. От волнения его тошнит. Его долго рвет. Мне также нехорошо. Штыковой бой внушает ужас и отвращение. В нас нет ни злобы, ни ненависти. Я думаю о том, как хорошо было бы попасть под пулемет и сразу погибнуть... Мы ползем по склонам холмов.

Добравшись до края, мы поднимаемся, но сразу падаем назад, отброшенные сумасшедшим огнем пулеметов. Они стоят открыто, прямо против нас, и осыпают тучей пуль, зловеще татакая.

Мы немного отходим, чтобы укрыться от огня. Раненые, громко крича и охая, скатываются к основанию холма.

Сзади подходят новые цепи, и, подгоняемые фельдфебелями и офицерами, мы снова начинаем ползти вверх.

Снова сплошной огонь пулеметов и ружейных залпов отбрасывает нас.

Как только нас отбрасывают, стрельба прекращается. Это создает впечатление спокойствия и уверенности неприятеля.

К нашей роте подвозят два пулемета, за одним из которых начальник команды. Он решительно выкатывает их на возвышение и открывает огонь. Мы лежим у края, беспорядочно стреляя. Немцы отвечают. Завязывается перестрелка.

Внезапно над немецкими цепями разрывается шрапнель. За ней вторая.

Наша батарея, установленная позади нас в деревне, нащупав немцев и пристрелявшись, открывает ураганный огонь... Мы видим, как беспрерывно разрывается шрапнель, как немцы под каждым белым дымком рассыпаются и убегают.

Раздаются крики офицеров:

— Вперед, в атаку! Ура!

Впереди нашей роты появляется штабс-капитан Воздвиженский. В левой руке его револьвер, в правой — обнаженная шашка. Он кричит:

— За мной, за мной! Ура!

Мы поднимаемся и бежим. Немецкий огонь заметно ослабевает. Мы скатываемся с холмов разорванными цепями, местами сбиваясь в кучу, местами оголяя большие пространства. Все поле усеяно бегущими фигурами... Мы держим ружья на перевес... По всему полю несется «а-а-а-а...».

Немцы убегают. Мы уже занимаем их позиции и боимся бежать дальше, опасаясь собственного артиллерийского огня.

Но огонь хорошо корректируется и удачно бьет по убегающим.

Пробегаем мимо раненых немцев... Их много... Слышен крик лежащих один возле другого раненых... Но мы бежим, не останавливаясь. Разрывы уже далеко впереди нас.

По всему полю разбросаны оставленные пулеметы, ружья, шашки, каски и патроны... И снова тела убитых и тяжело раненых.

Мы приближаемся к толпе немцев, заметно отставших от своих. Наши, на ходу, открывают по ним огонь. Неожиданно они останавливаются и, бросая винтовки, поднимают руки вверх. Мы подбегаем к ним, окружаем, и несколько наших отводят их в тыл.

Впереди виден лес. Туда укрываются отступившие. Над лесом разрывается наша шрапнель. Забежавшие вперед ведут большую толпу пленных.

Мы устали. Мы больше не можем бежать. Понемногу останавливаемся. Потом идем обратно. Появляются санитары, они подбирают раненых пленных.

Мимо нас пробегают вперед резервные цепи.

Кто-то близко хрипит слабеющим голосом. Я вижу бородатое лицо, землистое и бледное, и покрытые пылью стекла очков. Немец, широко раскрывая рот, с трудом глотает воздух и напряженным пронзительным шопотом хрипит:

— Kamerad... Hilfe... Hilfe... Kamerad... Jch sterbe...

Я снимаю с него очки. Голубые глаза мутны, как у пьяного.

Я даю ему воды из фляжки. Он жадно глотает, захлебывается и издает горлом странные звуки. Я расстегиваю его куртку, разодранную на животе. Все белье в крови. В животе у него небольшая рана, осколок очевидно внутри. Хочу бежать за санитарами, но он молит не оставлять его. Я беру его бинт и закрываю рану. Кричу санитарам, они приходят и уносят его. На носилках он теряет сознание.

Немного дальше стонет немец с раздробленной и окровавленной кистью руки. Из колена течет кровь и превращается в липкую темнокоричневую грязь...

Убитые лежат в разных позах: навзничь, ничком, на боку, скорчившись, разбросав руки, без рук, в грязи и крови.

В том месте, где мы раньше видели большую группу раненых, лежит несколько убитых. У одного из них отор-

вана левая нога выше колена; край шинели раскрывает искромсанную ногу, превращенную в кусок окровавленного мяса... Раненый пытался куда-то ползти и оставил длинную полосу темной крови... Лицо его совершенно желтое, и губы синие...

В двух шагах от него, разбросав руки и ноги, лежит животом вниз солдат. Голова его раскололась пополам, как разрезанный надвое арбуз. Рядом с тыльной частью головы, держащейся на туловище, лицо держится только на коже и лежит, как крышка открытой коробки, поставленной вверх дном... Из коробки вывалились мозг и глаза.

Мне нехорошо. Горло сдавливают спазмы. К сердцу подкатывает холодок... Я не могу больше слышать разрывающих мозг криков и стонов... Я не могу больше видеть разорванные животы, вывалившиеся внутренности, оторванные ноги и головы... Я не могу видеть кровь... Напряженные и притупившиеся нервы устают и сразу ослабевают до крайности. Но некуда спрятать глаза, некуда бежать, негде укрыться. Куда ни повернешься, везде развороченные тела, корчащиеся фигуры, стоны и кровь... Я бегу к нашему перевязочному пункту и прошу у фельдшера Глазунова глоток коньяку. Он наливает мне полстакана, и я залпом его выпиваю.

Через минуту тепло проходит по всему моему телу, голова кружится. Кровь и развороченные тела не пугают...

Я помогаю фельдшеру разрезать шинели, держать раненых во время перевязки и укладывать на двуколки. Мои руки в густой крови, шинель в красных пятнах...

В лесу, куда укрылись немцы, много убитых. Под ними на земле следы засохшей крови. Ногти их пальцев впились в землю, и скрюченные руки застыли... Позы конвульсивно изогнутых тел и искаженных лиц говорят о медлительности агонии.

Наши солдаты снимают с убитых сапоги и шлемы.

Я натыкаюсь на труп совсем юного немца.

Рядом с раскрытым ранцем разбросаны разные мелочи, среди них голубой конверт.

Я долго не могу оторваться от тонкой фигуры и милого лица убитого. Куртка на груди изорвана и залита кровью. Руки разбросаны в стороны, и кисти сжаты в кулаки. Лицо повернуто в сторону и беспомощно смотрит на меня. Мертвое и застывшее, с незакрытыми голубыми глазами, оно сохраняет нежность овала, мягкость линий и детскую чистоту белой кожи.

Я поднимаю голубой конверт, вынимаю из него маленький листок папетри.

Мой милый Альфи, еще не увяли цветы, которые ты мне принес перед отъездом, еще звучит в моих ушах твой ласковый голос, и я вижу совсем ясно твои глаза, такие родные и близкие и такие грустные перед прощанием, — а ты уже так далеко, так страшно далеко...

Сегодня день моего рождения. Я ждала твоего письма, но не дождалась. Ты помнишь этот день в прошлом году?.. Я не пошла в школу и мы весь день провели вместе. Думали ли мы тогда, что судьба нас так скоро разлучит, что тебя отнимут у меня...

Мой милый, любимый Альфи, я верю, я горячо верю, что скоро весь этот кошмар окончится и ты вернешься невредимый домой. Тогда мы будем всегда вместе и нашего счастья никто у нас не отнимет.

Правда, милый?

Пиши мне чаще, как ты обещал. Когда долго нет от тебя писем, невольно всякие ужасы лезут в голову, и сердце охватывает тяжкая тревога.

Твоя мать так редко пишет тебе, потому что у нее опять болят глаза и дрожат руки. Она много плачет и молится. Она говорит, что вымолит тебя у бога, что он не отнимет у нее ее единственное в целом мире счастье.

Да, мой дорогой Альфи, ты наше единственное в целом мире счастье...

Будь здоров и невредим. Да хранит тебя бог. Целую твои глаза.

Твоя Марта.

Но бог не услышал их молитвы.

Он не сохранил бедного мальчика ни для матери, ни для Марты. Раскаленный кусочек свинца из русской винтовки отыскал юное сердце, и окоченевшее тело его лежит на промерзшей вражеской земле.

Прекрасные черты покрываются уже тенями тления, и темные пятна наплывают на лицо.

Мы уже много недель в окопах. Против нас в полуверсте немцы. Каждый день на рассвете бомбардировка. Сначала с небольшими промежутками, редкие одиночные выстрелы. Потом беглый огонь, час, другой. И небольшая передышка. И снова то же. За несколько дней не трудно

было пристрелиться, и снаряды безошибочно разрываются над линией окопов. Мы настроили блиндажи, тратя все свободное время на укрепление и прикрытие навесов.

Когда близко разрывается снаряд, слышно, как ударяются осколки о крышу блиндажа. Когда тяжелый снаряд разрывается в самом окопе, взлетает крыша, разворачивается и обваливается окоп, десятки людей превращаются в кровавую мешанину.

За четыре недели мы потеряли сто человек. Пополнений пока нет. Наша рота стала совсем маленькой. В других ротах то же.

Батарея расположилась недалеко позади нас. Восемь орудий, отвечая немцам, производят такой гром, что сотрясают воздух, рвут уши, бьют по черепу...

По ночам на горизонте за линией неприятельских окопов полыхает багровое зарево пожаров, зажженных нашей артиллерией. Горят деревни, озаряя кровавым светом полнеба. К утру зарево бледнеет и сменяется клубами черного дыма.

Последние дни идут беспрерывные дожди. В поле вокруг окопов черная, глубокая, липкая грязь. Вода затекает в окопы, и мы с трудом спасаемся от нее, наложив под ноги доски, ветки и кирпичи, натасканные из соседней сгоревшей деревни.

Входить в окопы и вылезать оттуда трудно, так как края совсем размокли и превратились в черное месиво. К нашим шинелям, рукам и сапогам прилипает грязь. Лица у нас серые, кожа жирная и липкая.

Из окопов мы видим черную грязь поля и над нами серое, сплошь затянутое тучами, зловещее небо. В стороне, на месте недавно еще богатой деревни, — длинный ряд обнаженных печей и труб, груды обгоревших развалин...

От подземной норы, от невылазной грязи, от серо-коричневого неба и дождя, от бессонных ночей и голода, от вечно висящей над головой смерти — мрачная тоска не покидает нас.

Мы устали... Мы страшно устали, но нам невозможно отдохнуть. Мы хотим спать, голова кружится, глаза закрываются, веки тяжелеют, наливаясь свинцом. Ноги от слабости подкашиваются, но спать невозможно, лечь негде, некуда преклонить голову, не к чему прислониться...

Мы голодны. Мы хотим есть. Наши желудки давно пусты, наши организмы ослабели. Но есть нечего. Кухни

не могут пробраться по глубокой густой грязи, попытка пронести пищу в ведрах кончилась гибелью носивших.

Мы хотим работать, мы томимся от безнадежного безделья, но делать нечего, и мы часами ловим вшей, пускаем их гулять по ладошке, рассматриваем их, сравнивая с чужими, и, наконец, бьем, придавливая ногтем к осколку кирпича...

Былин рассказывает, какое замечательное сало в его губернии:

— Белое, белое... вершка на полтора толщиной... В рот положишь, як масло тает... А то можно кусочками его накрошить, с луком поджарить; оно на сковородке шипит, а зарумянится, надо яйцами облить... Э, и вкусно, ребята...

Гончаров сердится:

— Брось ты, чортов хохол! И без тебя горько! Аж слюнки потекли.

Но ему некуда скрыться от разговоров о еде. Колонисты оскорблены.

— Нет... Это есть неправда... Наш свинина лучш. Наш свинина, как сметана, можно мазать на булка... Это есть шпик, немецкий шпик...

— Ось погоди, немцы из тебя сделают шпик.

Другой колонист вспоминает домашнюю ливерную колбасу и паштет из потрохов:

— Окорок и колбаса в труба надо вешать. Там шесть недель должна висеть, коптиться, а паштет и ливерная надо сейчас кушать... Надо на теплый хлеб мазать... Немножко горчица мазать...

Гончаров вне себя:

— Довольно, колбасники проклятые! Что вы душу мотаете?

— Господину фельдфебелю, конешное дело, обидно, — говорит Родин. — В Никольске недавно еще рюмочку выпьют и колбаской закусют или огурчиком хрустнут... Хорошо... Потом еще разок. От бы, ребята, сейчас стопочку смирновки!

— Ага, верно. А потом жменю кислой капустки и копчену грудинку.

— Не-е. Сейчас бы перво-наперво чашку горячих щей... Да... Да пожирнее. Апосля — мясца кусок, с жирком и, значит, горчичькой смазать или хренцем... Апосля этого чайку, чашек пару, и на боковую... Поспать бы. Э-эх... На печку бы, да под тулуп...

Запасный, из крестьян Олонецкой губернии, не выдерживает:

— Верно, ребята, ничего лучше чайку не бывает. Хорошо к яму баранков горячих али, скажем, пирожка с тварожком. Э-эх, бывало, раньше в праздник десяткам их жрешь, горя не знаш, ей-бо. А все мало было, зря бога гневали, истинный хрест...

— Брось, зверь олонецкий, божиться — все равно врешь. Видать по тебе, и в праздники, поди, мяса не жрал. Бедный ваш край, а ты «пирожка с тварожком»...

— Не, правда, вот те истинный хрест! По нашим мястам народ богато живет, ей-бо. Бывает — по шесть, по восемь коров, да столько ж лошадей, а бывает и больше.

Немцы не уступают.

— Наший колоний еще Екатерина Великий даваль. Наший колоний есть колонисты семьдесят десятин есть. Нас есть колонист Иоганн Гретц, он имеет восемьдесят пять десятин. Одна пшеница пятьдесят десятин, кукуруза и овес; есть много картофель и много арбузов. Он имеет двенадцать лошадей и двенадцать коров и много свиней, а птицу так много — считать нельзя. Нас много такой колонист.

— Известно, немчура, не пьют, не гуляют, только рубли собирают.

Сибиряки — тобольские и томские — не верят в такие богатства.

— У нас коровенка-другая, и обчелся. Земли — на семью три-четыре десятины. Бедно у нас живут.

— Не у вас одних так живут — говорит Артамонов. — Вся Россия нищая. Я много по ней мотался. Куда ни ткнись — везде нищета, убожество... Избенка без окон, без печей, крыша дырявая, в доме ни коровенки, ни хлеба — ничего.

— И у нас такой уезд... В деревне один, другой хорошо живет... Остальные только маются...

Разговор постепенно увядает. Мы все одинаковым жестом залезаем пятерней за пазуху и неистово скребем грудь и подмышки. Но это нисколько не помогает. Вшей развелось безнадежно много. Раздеться и почистить белье невозможно — очень холодно.

Идем много часов по разрытой снарядами дороге. Проходим сожженные огнем артиллерии деревни... Только печи с торчащими трубами и грудами обгорелого мусора. Двумя длинными шеренгами тянутся они от края до края. И ничего больше. Ни единого человека. Ни лая собак.

Сгорело все, что может сжечь огонь. И упрямо торчат длинные трубы, как протянутые к небу руки.

Мы проходим одну за другой деревни, и все они похожи одна на другую... Будто мы ходили-ходили и незаметно вернулись к той же сожженной деревне.

Опять только трубы, насколько видит глаз.

Будто стояли шеренги солдат, и с них сняли обмундирование, содрали кожу и мышцы, скальпировали черепа и оставили ряды скелетов...

Над пепелищами вьется еще тонкий серый дымок, напоминая о недавней жизни, о только что ушедших отсюда людях...

На полях встречаем толпы крестьян. Они останавливаются и дают нам дорогу. Дети, закутанные в кучи тряпок, сидят на грудах утвари в наполненных телегах. У ребят синие от холода личики, сморщенные красные носики и глаза, опухшие от слез. В телеги набросаны как попало корыта, ухваты, горшки, подушки. За подводами, равнодушно пережевывая жвачку, стоят привязанные худые коровы.

Женщины плачут, неслышно всхлипывая, вытирая кулаками грязные лица.

Навстречу нам движутся новые толпы беженцев-крестьян. На женщинах остатки когда-то ярких национальных одежд. Красные платки на головах, завязанные высоко как чалма, коричневые сермяги с вышивкой на воротнике и рукавах. Скрипят несмазанные телеги, мычат голодные коровы, стучит и дребезжит убогий скарб...

Куда они идут? Кругом на сотни верст все сожжено, залито кровью и затоптано тяжелыми солдатскими сапогами двух великих враждующих армий.

Солдаты, равнодушные ко всему, ничему не удивляющиеся, ожесточенные, бездушные и апатичные, глубоко сочувствуют крестьянам.

— Ну, чем воны виноваты? Воюют немцы с русскими, а поляки при чем? Та еще мужики... Деревни пожжигали, народ прогнали, а куды воны пойдут? Чего жрать будут?

Кайзер печалится о хозяйстве:

— Сколько добра погубили... Землю затоптали, посевы погубили, лошадей забрали, коров поубивали... Теперь долго ничего не будет...

Попыхивает выгоревшая трубка, вьется вонючий дымок над ней, и Кайзер, сплевывая сквозь желтые зубы, продолжает:

— Сломать легко, сломать просто... А строить надо много, много лет; что в день сломаешь — годы надо строить... А мужику прямо смерть... Где он потом возьмет и дом, и корову, и лошадь, и плуг, и семена?.. Пропадет мужик совсем.

Кто-то говорит:

— Мужику всегда плохо. Ему первому попадает. Работает от петухов до ночи. Спину ломает всю жизнь. Сердце надрывает, а все равно ни к чему. Картошки нехватает, хлеб с квасом жрет... А горе хлебает первый... Неурожай — мужику горе. Пожар — вся деревня горит. Война — одних только мужиков в солдаты гонят... А кого не возьмут, то так с земли сгонят, и дом сожгут и всего изничтожат... Мужику нет спасения...

Былин замечает:

— Да, брат, паны дерутся, а у холопов чубы болят.

— От бы панам чубы надрать, може, холопам легше станет...

Артамонов, загребая свернутой козьей ножкой махорку из кисета, как всегда думая какую-то долгую, постоянную думу, медленно, с длинными паузами говорит:

— Я все думаю... За што воюем? Кто нас обидел? Тебя, меня, его... Сердит ты на немца? Нет. И я нет. И никто здесь на него не сердит. За што?.. Тут мужики и — там мужики... Тут мастеровые и — там мастеровые... И воевать нам не за што, нету нашего интересу в этой драке... Тут интересы господские, хозяйские, не нашего брата... Иной раз думаешь, думаешь и эдакое придумаешь... Эх, сукины дети, собрать бы здесь побольше народу, да пойти в Питер, да спросить там начальство: «какой такой важный интерес может быть, чтоб такая тьма народу за его пропадала?.. Кто надумал воевать?.. Покажите-ка...» Да взять их и при всем народе засечь розгами, чтобы другим не повадно было. И всех, кто там за войну — сюда послать — пускай повоюют, а мы поглядим. И немцам скажем — пусть то же сделают.

Былин весело хохочет.

— Правильно — вы повоюйте, а мы поглядим.

Кто-то робко возражает:

— Да кто-то воевать должен. На то и солдаты, чтобы на войну шли... Ежели армия родину защищать не станет, так кто же?

— А кто нападал на твою родину?

— Немцы... Известно кто...

— А ты сам видал? Ну расскажи — как дело было? Кто на кого, да за што нападал?.. Ну, говори...

— Этого нам знать не полагается... Наше дело маленькое... Это дело начальства.

Артамонов крепко рассердился, даже сплюнул злобно.

— Тьфу, сукин ты сын, холуй господский. «Дело начальства». А твое дело — за начальство помирать?.. И ничего больше?..

— Присягу давали...

— «Присягу давали». Холуй, — холуем и помрешь... А за што помрешь? За чьи интересы? За свои што-ли?

— Мы за Россию.

Кто-то говорит:

— У евоного батьки сорок десятин.

— Оно и видать... Заметно, чью сторону тянет.

— Есть почище хозяева... Которые по десять тысяч десятин...

— По десять?..

— Да... И по двадцать бывает... Таких помещиков много. И побольше бывает. У одного только царя миллион десятин, да сотни поместьев, да десятки дворцов.

— Миллион?..

— Да... Да у монастырей миллионы десятин...

— Миллионы?

— А-а... То-то и оно.

Скрывается последняя телега. Пестрая, рваная толпа, подводы, лошади, коровы, скарб, плач детей и женщин, — все исчезает позади...

Ударили неожиданные морозы. Пока мы идем — ноги согреваются, останавливаемся — и ноги быстро стынут. Мы все еще в фуражках. Где-то в обозе второго разряда болтаются наши сибирские полушубки, папахи и варежки. Они согревают обоз, а мы здесь замерзаем. Солдаты ругаются.

— Ну, и сволочь — Горпыченко, маринует зимнее обмундирование.

— А при чем Горпыченко? Всему полку не дают, значит, начальство не приказало.

— Боятся, что нам ходить тяжело будет, взопреем.

— А верно, ходить тяжело будет.

— Зато тепло.

Мы уже давно непохожи на тех подтянутых, крепко подпоясанных солдат, вид которых обожали полковой и батальонный командиры.

Всевозможными хитростями мы раздобываем разные тряпки, обрывки материи, старые шапки и напяливаем на себя. Я купил у беженца большую облезшую барашковую шапку и напялил на голову через уши. Воротник шинели поставлен и обвязан полотенцем вместо шарфа. Былин обвязал длинной портянкой голову, как деревенские бабы платком, и сверху надел фуражку. Сапоги обмотал пестрыми лоскутьями из рваных матрасов. Василенко снял с мертвого немца шлем и хорошо себя в нем чувствует. Родин, очевидно, украл башлык и совсем благодушествует. Запасливый и хозяйственный Кайзер сложил в узкую полосу кусок фланели и обвязал уши, засунув узлы под фуражку. Кто-то из запасных, найдя большой клок рваного одеяла с вылезающей ватой, набрасывает его себе на плечи...

В стороне от дороги сгоревшее местечко. Посреди его — развалины кирпичного здания. В разных местах остатки кирпичных домов; остальные домишки, беспорядочно разбросанные по всей площади, сгорели до тла и маячат белокрасными полуразрушенными трубами.

Солдаты делятся впечатлениями.

— Здорово расколошматили. Ничего не оставили. Вдребезги.

— А зачем по штатским стреляют? Ведь никого они не трогают. Тут бабы ходят, детишки играют, зачем в них стреляют?

— Жили себе люди, трудились, кусок хлеба ели, никому не мешали — вдруг приходят — бах, бах, бах, и кончено.

— Господи, сколько горя от войны! И кто ее выдумал? Кому она нужна? Кому от нее радость?

— Може, кому и есть радость, може кому и нужна...

Это говорит новый в нашей роте запасный Кузнецов. Он городской, работал упаковщиком на складе. Сероглазый блондин, среднего роста, худощавый, он разговорчив и боек.

— Вот кончится война, считать начнут, сколько убитых, раненых. А разве можно сосчитать? Никак невозможно. Одних наших, поди-ка! сосчитай! Наши и здесь, и в Австрии, и в Румынии, и на Кавказе. А во флоте сколько народу. И каждый день бьют, бьют, бьют... Из пушек, из пулеметов, с аэропланов, шашками, винтовками... Эх, сколько убитых, раненых, пропащих... Не, не сосчитать вовек, ни за что не сосчитать. А которые нас сюда послали, тех не-

много... Их против нашего брата совсем немного... Они, небось, в городе сидят, в каменных домах прячутся... за их и воюем... понял? Их интирес защищаем, а больше ничей.

— Наше дело маленькое...

— То-то же что маленькое... Погоди, авось расчухаемся, може умней станем... Тогда будет не маленькое...

Мы входим в лес.

В огромных воронках между деревьями жгут костры. Мы сидим вокруг костров и греем ноги. В большой воронке, кроме нашей компании, сидят батальонный, ротный, телефонист с аппаратом и два офицера. Аппарат каждые несколько минут пищит и телефонист вяло отвечает; «слушаю». Потом сам вызывает и также монотонно говорит: «поверка линии».

Батальонный жалуется на боли в боках.

— Должно быть, почки. Я давно уже страдаю, но надо терпеть. Служба — не шутка. Особенно на войне. Бог даст, одержим полную победу над врагом, кончим войну, тогда отдохнем. Его величество никого не забудет, он всем воздаст по заслугам...

Чайка, чтобы остановить поток патриотического красноречия батальонного, рассказывает фронтовой анекдот.

— У нас в роте новый солдат, еврейчик из запасных. Услышав первый раз стрельбу из немецких окопов, он выскочил из блиндажа и закричал несвоим голосом, грозя кулаками в сторону немцев: «Что вы делаете?.. Вы с ума сошли? Здесь же живые люди сидят!..» Еле втащили его обратно в окопы.

Слушатели смеются. Батальонный также хохочет:

— Ха-ха... «Здесь же живые люди сидят»... А что же, в мертвых стрелять? Ха-ха, вот чудак!

Анекдот понравился. Офицеры рассказывают свои, но все уже дремлют. Василенко положил свою голову на мое плечо и сладко похрапывает. Чайке это понравилось, и он ложится, кладя голову на мои колени. Батальонный дремлет, медленно нагибаясь вперед, и вдруг, резко вздрагивая, выравнивается, смотрит непонимающими, испуганными глазами и снова засыпает... Ноги быстро согреваются у костра, но всему телу холодно. Оставаясь неподвижными, мы быстро мерзнем и дрожим, но, скованные дремотой, не решаемся подняться.

Сидеть или лежать спокойно невозможно. Вши ползают по телу. Они не дают ни минуты покоя.

Не хочется будить Чайку и Василенко, но я больше не могу сидеть неподвижно. Им тоже зуд не дает уснуть, и они скоро вскакивают и яростно чешут пятерней тело.

Вспоминаю недавно прочитанную статью о вшах и вслух восстанавливаю ее.

— Платяная вошь дает в две недели пять тысяч молодых вшей... Вошь на теле человека пьет кровь три раза в день... Вошь причиняет зуд ползанием и укусом... Головная вошь откладывает гниды на волосах хозяина, платяная на швах и складках белья... Вши относятся к разряду бескрылых... У них три пары ног... У них сильно развиты мышцы, особенно груди и ног... Молодые вылупляются из гнид совершенно похожими на родителей... Через восемнадцать дней они уже сами способны размножаться... Напившись крови тифозного и укусив потом здорового, вошь вносит инфекцию в кровь...

Чайка в отчаянии.

— Боже, какие ужасы вы рассказываете, оставьте — это хуже чемоданов!

Спрашиваю его:

— А что вас больше угнетает? То, что они относятся к семейству бескрылых, или то, что у них, как у спортсменов, сильно развиты мышцы ног и груди? Меня, например, умиляет, что они вылупливаются совершенно похожими на родителей... Люблю фамильное сходство...

Офицеры из другого батальона говорят мне:

— Вам нельзя читать научные статьи: вы сами с ума сойдете и других сведете.

— Никак нет... Но поймите, если вшей у меня хотя бы только пять тысяч и у них развиты мышцы ног... и каждая напьется моей крови три раза в сутки...

Чайка начинает сердиться:

— Довольно. Прошу вас прекратить.

— Слушаю... Но, если бы и им приказать не кусаться...

С ними ничего нельзя сделать. Их бьют. Швы обжигают на огне — не помогает. Порошок, присланный из дому, только окрашивает их в зеленый цвет. Они ползут по белью, неся на спине зеленую краску.

Разговор о вшах прекращается:

Приходит телефонограмма:

«... полку на рассвете выступить по направлению к Стрыкову и во что бы то ни стало войти в соприкосновение с неприятелем...»

Очень приятно. Слова какие милые: «Войти в соприкосновение»... Войдем. Чего уж. Возражать не приходится...

Я себя начинаю чувствовать старым, прокопченным в пороховом дыму, ворчуном гвардейцем. Этаким седоусым наполеоновским гренадером... Ведь я один из немногих старых кадровых солдат. Большинство — запасные и новобранцы.

Поднимаюсь и брожу от костра к костру. Солдаты спят на земле. Они ворочаются во сне, чешутся и снова ложатся. Некоторые, несмотря на мороз, раздеваются, снимают рубаху, достают вшей и бросают в огонь...

И вот снова длинной походной колонной мы тянемся по шоссе. Еще совсем темно. Где-то недалеко по дорогам, идущим параллельно с нашей, также движутся колонны. Слышен шум обозов и артиллерии, топот копыт, лязгание железа и ржание лошадей. Мы дрожим от холода, кутаемся и лязгаем зубами. Холодно. Все тело ощущает только страшный, пронизывающий холод и леденящую стужу.

Начинается серый рассвет.

Мы встречаем огромную толпу беженцев-евреев. Они покинули окрестные местечки и идут в неизвестность, так же как встреченные раньше польские крестьяне.

Подвод совсем мало. В толпе беженцев они сереют одинокими пятнами, нагруженные убогим хламом. Их тянут маленькие, облезшие, костлявые клячи, едва переставляя ноги.

На руках у женщин, в грудах тряпья — младенцы. Уставшие их носить женщины тяжело дышат и идут, странно откинувшись назад, нелепо выпятив животы. Много беременных. Женщины и девушки закутаны в платки, шали и одеяла.

Старики в позеленевших от времени шубах, рваных, заплатанных, с рыжими собачьими воротниками, переставляют ноги с тяжким трудом, опираясь на палки. Несчастье лежит безмерным грузом на их согбенных спинах...

Нищета, голод и бездомность наложили печать скорби на изрезанные морщинами лица. Глаза бледных седобородых стариков, как глаза библейских пророков, полны горькой тоски...

Свое нищенское имущество, связанное в узлы, люди тащут на себе десятки верст. У них нет ни лошадей, ни коров, ни даже собак.

Над жалкой рваной толпой беженцев повисли непоправимое бедствие и обреченность.

Медленно проплывают загнанные испуганные глаза, бледные лица, согбенные фигуры...

Через несколько часов мы проходим мимо брошенных местечек. Домишки стоят печальные, молчаливые, осиротевшие. Мертвая тишина зловеще нависла над брошенным человеческим станом.

Наши дозоры, идущие впереди частей, исчезли. С ними нет связи. Разведка давно донесла, что неприятель близко, но точных сведений нет. Движемся совсем медленно. Высылаются новые дозоры. Чайка поясняет, что в случае, если неприятель занимает заранее укрепленную позицию, не трудно собрать разведке точные сведения о нем. Тогда можно подойти походным порядком только до дистанции действительного ружейного огня. Здесь надо быстро окопаться, создав исходное положение для атаки.

По уставу это выходит очень хорошо.

А сейчас вот — дозоры пропали, разведка не точная.

И вдруг — треск ружейного залпа... Потом беспорядочный и частый огонь винтовок...

— Рассыпаться в цепи... Тринадцатая и четырнадцатая роты вправо, пятнадцатая и шестнадцатая влево от дороги. Ок-ааа-пываайсь...

Мы бежим стремглав по замерзшей, неровной бугорчатой земле. Падаем и хватаемся за лопаты, топоры и кирки. Пули долетают до нас. Мы окапываемся с огромным трудом, боясь поднять голову. Невозможно в таком положении сильно взмахнуть руками для удара лопатой.

Земля замерзла на несколько вершков. При каждом ударе железа о мерзлую землю мелкие, твердые, как уголь, острые кусочки земли отлетают вверх и в стороны, ударяясь в лицо и руки, причиняя боль, как будто иголки вонзаются в тело... От земли идет холод. Ветер задувает под шинель и в рукава, леденя тело. Пули свистят чаще. Мы с отчаянием, от страха и холода дрожа и стуча зубами, бьем землю, упорно выдалбливая небольшие кусочки...

Мы не делаем сплошных окопов. Каждый вырывает себе круглую дыру и вползает в нее. Сидя в них, роем их глубже и шире книзу. Там мы сидим скорчившись и закрываем голову лопаткой, когда нас осыпают шрапнелью.

Но не у всех лопатки; у многих топорики и кирки...

Где-то недалеко позади нас устроилась наша горная батарея. Она стреляет по немецким окопам, и каждый выстрел маленького орудия производит странный звук:

— Пау.

Как будто женский голос пронзительно кричит, вырываясь изо рта вместе с огнем:

— Пау! Па-у! Пау-у!..

Снаряды задевают верхушки деревьев в лесу, или это только кажется, но в лесу шумят при выстрелах деревья, шелестит засохшая листва, и гулко, далеко, раскатисто раздается эхо.

— Ау-у, ау-у, ау-у.

По моей лопатке ударило что-то твердое — вероятно осколок.

Слышен крик:

— Передать по цепи — батальоный командир ранен. Батальонным назначается капитан Чайка.

Позже, когда огонь немного стихает, я выползаю из своей дыры. Меня зовут к новому батальонному командиру. Чайка сидит позади батальона в блиндаже. Он рассказывает, что Ляхецкий ранен осколком или пулей в обе щеки насквозь.

В блиндаже сыро и холодно, но над головой прочный навес. Рядом с Чайкой — телефонист. Когда наступают сумерки, Былин бежит из окопов в одиноко стоящую недалеко халупу. Он разводит огонь в плите. Из трубы халупы валит дым. В окне светится огонек. Бегу туда погреться. Скоро халупа наполняется солдатами. На плите десятки котелков. На топливо ломают мебель, кровати и шкафы.

Недалеко с грохотом разрывается снаряд. Я кричу Былину:

— Нащупывают халупу. Бежим.

— Ось погоди, сейчас вскипит вода, тогда пойдем.

Прибегает еще кто-то:

— Батальонный приказал сейчас же уйти из халупы.

Я бегу. Остальные за мной. Былин тащит чайник с кипятком.

Добегаем до окопов и слышим новый грохот. У халупы взрывается еще снаряд. Потом третий, и халупа вдруг вспыхивает, как порох. Проходит одна-две минуты, изба полыхает, как огромный костер. Половина неба охвачена багровым заревом...

У Чайки разыгрывается старый ревматизм. Кисти рук и пальцы болят и не сгибаются. На суставах уродливые

узлы. Он не находит места для рук и не может их согреть. От боли он не может заснуть. Задремав на минуту, он тихо стонет, что-то бормочет и скоро просыпается. Его лихорадит.

Я раскуриваю свою трубку и даю ему погреть руки. При свете вспыхнувшей спички вижу пожелтевшее лицо Чайки и уставшие, горящие больным огнем глаза.

Чайка говорит возбужденно, отрывистыми фразами:

— Лежишь в этой черной яме и не веришь, что есть другая жизнь... Что есть тепло, покой, уют... Что больному человеку можно лечь в постель, согреться и уснуть... Я уже не верю, что где-то есть море, цветы, милые девушки, хорошие книги...

Да, это правда. Минуты такого отчаяния охватывают и меня.

Я — грязный, вшивый, голодный, вонючий и ничтожный... Как я могу, копаясь, как червь, много месяцев в земле, верить в жизнь, в счастье, в покой... Я даже не верю в то, что это было...

Голубое небо, горячее солнце, аромат цветущего поля — нет, это фантазия, поэтическая выдумка, чепуха...

Нет, есть только окопы, замерзшие ямы, в которых сидят миллионы с этой и миллионы с той стороны...

Телефонист сонным голосом монотонно повторяет:

— Поверка линии...

Где-то вспыхивают осветительные ракеты, и крохотный отсвет падает на короткий миг в блиндаж.

Пищит аппарат. Телефонограмма:

«... предпринять ночную атаку ровно в двенадцать часов. Цепями пройти возможное расстояние без шума. Будучи открытыми, броситься в атаку и выбить неприятеля из окопов...»

Как в этой дикой темноте итти в атаку? Мы ничего не увидим. Мы столкнемся со своими и перебьем друг друга. Там проволочные заграждения. По дороге ямы, бугры, кочки.

Батальонный приказывает мне созвать ротных, фельдфебелей и взводных. Я брожу в темноте среди окопов и тихо окликаю:

— Какая рота? Ротного, фельдфебеля и взводных срочно к батальонному. Какая рота? К батальонному.

Чайка недолго объясняет боевую задачу. Потом заканчивает:

— К двенадцати быть готовыми.

Все расходятся. Мы поглядываем на часы. Одиннадцать... Одиннадцать с четвертью... Одиннадцать с половиной... Как долго тянется время...

Без четверти двенадцать Чайка выходит из блиндажа. Солдаты вылезают из окопов. Курить нельзя. Разговаривать — шопотом. Котелки подвязать.

Мы дрожим от холода и страха. Стучат зубы. Расслабляются кишечники...

Кто-то нас опередил. Далеко слева, а потом ближе и ближе слышно «ура». Вслед за этим немцы открывают огонь и освещают внезапно все поле. Нас открыли слишком рано.

Звеньями и в одиночку мы перебегаем под огнем и лучами прожекторов. Справа и слева по всему полю слышно далекое и совсем близкое тысячеголосое, слитное «уа-а... уа-а... уа-а...»

Наша артиллерия открывает бешеный огонь по немецким резервам. Из неприятельских окопов льется ружейный и пулеметный дождь. Пулеметы злобно, яростно и настойчиво выстукивают сумасшедшую чечетку. Свист пуль слышен со всех сторон и где-то высоко над головой. Поле местами утопает в полной темноте, местами ярко освещается...

Сзади слышатся крики.

— Ребята! с богом! В атаку! Ура-а-а-а! Братцы, вперед, в атаку, урра-а-а...

Цепи поднимаются и бегут, спотыкаясь и падая, и снова поднимаясь.

— Уа-а-а-а, Уа-а-а-а, а-а-а, а-а-а...

Пулеметов, кажется, тысячи. Они заглушают все остальное.

Наши цепи редеют.

Мы добегаем до проволочных заграждений, бросаем на них принесенные с собой доски и по ним пытаемся бежать. Немцы забрасывают нас ручными гранатами. Наши крики смешиваются с шумом в их окопах. В темноте ничего не видно.

— Сдавайся, сволочь, сдавайся! — кричит Гончаров.

Он рядом со мной. Я вижу блеск его шашки и слышу хруст и мокрое шлепанье...

Мы перебежали окопы и бьем штыками по головам сидящих в окопах. Наших, очевидно, здесь много. Слышны русская бессвязная речь и брань. Кто-то еще и еще лезет через заграждения. Подоспели, очевидно, резервы.

— Вылезай, сволочь, вылезай. Бросай винтовки!

Вспыхивают фонарики и спички, освещая окровавленные головы и лица пленных. Одни вылезают сами, других вытаскивают. Их собирают группами и окружают. Мы натыкаемся на брошенный пулемет. В темноте отступающих не преследуют. Только артиллерия упорно посылает в догонку с нескольких позиций тысячи снарядов...

Мы то и дело натыкаемся друг на друга и на немцев. Их речь и крики смешиваются с нашими. Кроме меня и Гончарова как будто никого нет из нашей роты. Я выкрикиваю фамилии— никто не откликается. Спотыкаемся о брошенные винтовки, патронные ящики и мертвые тела. Падаем в ходы сообщения и ямы. Крики раненых становятся громче и слышны чаще.

На горизонте показывается огромная красная луна... Темнота чуть-чуть рассеивается. В коричневом тумане пленных выводят за окопы и заграждения. Их строят в колонну и гонят в пункт.

Санитарные команды подбирают раненых и убитых. Ими усеяно все поле. Луна поднимается выше, становится бледнее и освещает зеленым светом толпу пленных, наших санитаров и лежащие на земле тела...

Рядом со мной четыре солдата несут за руки и за ноги убитого офицера. Пустые ножны болтаются на портупее. Фуражки на голове нет. Блестят стекла очков. Подхожу ближе, зажигаю фонарик и узнаю капитана Воздвиженского. Половина лица, борода и вся шинель в крови... В горле огромная развороченная рана. На ней сгустки крови и пузырьки пены. Вся шинель в дырах и порезах. Солдаты его роты рассказывают, что он добежал одним из первых до заграждений, перескочил через них и был поднят немцами на штыки... Один штык с такой силой был вбит в его грудь, что немец не мог его вытащить и бросил винтовку... Воздвиженский лежал с воткнутым в грудь штыком. Винтовка от тяжести приклада пригнулась к ногам.

Утром возле новых окопов я нахожу Василенко. Он лежит на спине. Кто-то накрест сложил его руки. Лицо синее и маленькое, будто он за ночь похудел. Нос и подбородок заострились. Весь он тоненький и молодой, как мальчик. Глаза полуоткрытые, лукаво улыбающиеся.

Разыскиваю земляков Василенки, Родина и Былина. Родин идет посмотреть убитого. Былин спокоен.

— Уси там будем. Нема здесь дворян. Вон твоего Кайзера сразу и в ноги и в пузо хлопнули.

— Где Кайзер?

— Увезли. Я бачил, як его в линейку клали.

Значит, и Кайзера больше нет. Я уже привык к его крепкому характеру, желтым зубам, вонючей трубке и прочным хозяйственным мыслям. Вернется ли он в свой дом? Или его дом и хозяйство так и останутся без работника, и трое детей — без отца! Он так много об этом говорил и так этого боялся...

Наша рота стоит на охране переправы через реку. Остальные роты нашего батальона поблизости, также на охране. Мы расположились в небольшом, но красивом и благоустроенном фольварке. Жители его покинули, но все в доме хранит следы недавнего благополучия и уюта. В двухэтажной квартире прекрасная мебель, ковры, картины и книги. На огромном письменном столе в кабинете — книги, тетради, рукописи. Здесь, вероятно, жил ученый, писатель или журналист. На круглом столе возле большого кожаного дивана иностранные журналы.

Во всех комнатах обилие диванов, подушек и гобеленов, шкафчиков, полочек, этажерок, статуэток и настольных ламп...

Но все шкафы, комоды, столы уже разворочены, ящики вытащены. На полу валяются ворохи белья, бумаг, писем, фотографий и всякой мелочи. Все портьеры сняты, изрезаны и пошли на портянки.

Солдат вытаскивает из комода светлого дерева ящики, бросает их на пол и крушит сапогом. Потом он рубит дерево на мелкие куски и подкладывает в камин. Сухое дерево трещит и в миг поглощается пламенем. Я кричу ему:

— Что ты делаешь? ведь на дворе дров сколько хочешь.

— А хрен с ним. Стану я на двор бегать. И здесь хорошо.

Перед огромным трюмо корельской березы собирается толпа солдат. Парень, взяв винтовку за ствол, сразмаху ударяет прикладом по зеркалу. С треском и звоном сыплются осколки. Их разбивают на более мелкие куски и разбирают. Потом рубят раму, и дерево подбрасывают в горящий камин...

Во дворе, в погребе, в боченках и больших глиняных сосудах — квашеная капуста, огурцы и яблоки. Мы с наслаждением и жадностью объедаемся, снисходительно одобряя домашнюю засолку.

Былин поглощен кулинарными заботами. Он, конечно, раздобыл где-то гуся и, обещав Чайке «царскую трапезу», возится на кухне, восторгаясь комфортом, белыми изразцами, усовершенствованной плитой и духовой с вертелами. К гусю он готовит чудовищный гарнир из капусты и яблок.

Былин сердится на солдат, мешающих ему своими котелками распространиться по всей плите.

— Та ну вас к бису. С вами греха не оберешься. Хиба ж тут мисто для мужицких казанков? Тут тилько панам рябчиков жарить...

Молодому новобранцу он поручает месить тесто из найденной в кладовой белой муки.

— О то ж будут пироги с яблоками!

Он чувствует себя здесь хозяином. С полок летят на плиту и столы медные кастрюли, жаровни, сковородки... Он солит, перчит, пробует, прищелкивает языком, щурит глаза и облизывает пальцы.

Сытые и довольные, валяются солдаты в натопленных комнатах на коврах, диванах и кроватях. С большого дивана в кабинете содрана кожа, и на серой обшивке спят свернувшись три солдата...

Их не может разбудить даже рояль, стонущий под ударами увесистых и мозолистых кулаков... Эти звуки не пробуждают от сна даже спящего на рояле, недавно прибывшего в нашу роту солдата.

В угловой комнате, оклеенной белыми обоями и обставленной белой детской мебелью, спорят солдаты. Кто-то нашел висящую на стене стеклянную кружку с длинной резиновой трубкой и черным каучуковым наконечником... Один доказывает, что это просто детская игрушка, изображающая пожарную команду. Но старый бородатый запасный, знающий «все на свете», считающий себя самым умным и опытным, сердито возражает:

— Игрушка... Хороша игрушка. Что ты знаешь? Дурак серый. Это для бар. Ему в эту кружку чаю или вина нальют, на стенку ее повесют, а барин, знай лежи, да потягивай... Не хочет пить, горячий, скажем, или наклюкался вдоволь, он крантик закроет. Опять захочет — крантик откроет. А потом опять спит. Вот какая у бар жисть. А ты — игрушка...

Я объясняю им, что это за штука, и над многознающим бородачом дружно и долго смеются.

В соседней комнате, у горящего камина сидит в кресле солдат, переодевшийся в свежее, найденное в комоде белье.

На нем дамская кружевная сорочка и такие же панталоны... С открытой волосатой грудью и лохматыми руками, он развалился в кресле, вытянув огромные босые ноги, и курит трубку с махоркой, сочно сплевывая на ковер...

Вид его так нелеп, что возле собралась компания и до слез хохочет. Но солдат ничуть не смущается. С плеча его сваливается бретелька, и он кокетливо, захватив ее одним пальцем, укладывает на место...

Вечером сытые и выспавшиеся солдаты благодушествуют и подтрунивают друг над другом.

— Хорошо поляки живут... Умный народ, деловой...

— Да, уж деловой. У нас в полку был один. На посту у порохового погреба полкового козла убил. Его спрашивают: «Как это случилось?», а он докладывает: «Стою, стою... Слухаю, кто-то шумит. Кто идет? Молчит. Кто идет? Молчит. Я взял ружье, затвор откренджил, патрон запшендил и выстренджил. Смотрю — полковой козел».

Солдаты смеются. Их покоряет красота польского языка...

— А вот Былин — хохол-мазныца. Хохол, как в полк придет, так учебную команду спрашивает: в шкуры ихнего брата тянет. Все шкуры — хохлы...

— Верно, кажинный народ свое спрашивает. Кацап, как в полк придет: «а где кухня?» Ему бы гречневой каши да буханок аржаного... А еврей перво-наперво спрашивает: «ай, ай, а где здесь, панове, гошпиталь?»

— Да уж ты, скопской, молчи. Знаем мы вашего брата, неправославного. У нас в полку перед присягой командир полка командует: «Становись каждая вера отдельно». Значит — православные отдельно, которые католики — отдельно, которые татары — отдельно, опять же евреи — отдельно. Все стали по местам. Только одна компания стоит — не двигается с места. Командир спрашивает: «Вы кто же, неправославные?» — «Никак нет, неправославные». «Кто же вы?» — «Скопские... ваше высокоблагородие»...

Этот старый солдатский анекдот многим давно известен, но каждый раз он производит свое впечатление.

Из штаба привозят почту.

Фельдфебель стоит посреди комнаты, окруженный ротой, и непривычно тихо выкликает фамилии. Называя отсутствующих, он сам отвечает «нету».

— Романюк. Получай. Ольхов. Получай. Василенко. Нету... Тюрин. Нету... Кайзер. Нету... Фролов. Нету...

В руках фельдфебеля остается пачка писем. Он ее перекладывает из руки в руку и не знает, куда девать...

Я получаю сразу три письма. Одно из дому от родителей, а два от братьев — с турецкого и австрийского фронтов. Письмо из дому полно тревоги за всех троих. Родители, стараясь скрыть волнение, спотыкаются о каждое слово, невольно высказывая свои переживания.

Старший брат отслужил три года в Кубинском полку в Сарыкамыше и, кончая службу, попал на фронт.

Сейчас в горах сорокоградусные морозы. Нет продовольствия и связи. Орудия, снаряды, пулеметы, патроны люди тащут на своих плечах по крутым, скользким, занесенным снегом горам... Лошади по узким тропинкам пройти не могут. Люди отмораживают себе руки, ноги и носы.

Младший брат — музыкант. Ученик консерватории. Скрипач. Его письмо из лазарета. У него ампутирована лева рука...

Слезы застилают мне глаза. Я не могу сдержаться — и долго против воли плачу...

В кабинете нахожу большую карту Польши.

Так вот какой огромный кусок Польши мы исходили. Треть страны: Варшавскую, Петроковскую, Радомскую и Калишскую губернии...

Вот кружок и точка. От точки разбегаются длинные нити. Точка — это Варшава.

Огромные дома, трамваи, кафе, нарядная толпа, блеск, движение, нищета предместий, мост через Вислу... Потом шоссе. Темнота. Дождь. Поле. Ночь в деревне. Утро. Узкоколейка.

И первый бой...

Вот еще кружочки — Тарчин, Гройцы.

Вот на этом шоссе тяжелые снаряды вырывали из наших колонн солдат, превращая их в кровавую кашу... Вот здесь, за лесом, как колосья серпом резали наши ряды немецкие пулеметы... Вот здесь мы вбивали наши штыки и отточенные лопатки в головы, животы и груди немцев... Вот здесь казаки «лихим ударом» врезались в толпу отступающей немецкой пехоты и искромсали людей, завалив поле изуродованными телами...

Вот Бяла, Рава. Небольшой отдых. И опять бои по дороге к Уязду.

Вот Велюнский уезд Калишской губернии. Здесь близко граница. Мы переходим Варту по зыбкому понтонному

мосту. Мост дрожит, качается, залит водой, прогибается, уходя на вершок в воду... На этом пути — пустынные и сожженные деревни, толпы беженцев, встречи с неприятелем.

Вот Побияницы. Восемнадцать верст от Лодзи. Рядом с маленькими местечковыми домишками, убогими лачугами и нищетой — огромные каменные и кирпичные корпуса шерстяных, трикотажных и бумаготкацких фабрик и особняки фабрикантов. Трамвайный путь в Лодзь уже разрушен.

Лодзь в мертвой петле. Петля стягивается. Мы отходим на Брезины. И еще кружочек — это Стрыков.

Стрыков... В памяти загорается все, что недавно пережито. Рытье окопов под огнем, мороз, замерзшие руки, ночная атака. Ракеты, ура, фельдфебель, дождь огня, гибель Воздвиженского, синее лицо Василенки, ранение Кайзера и смерть, смерть...

Наш отдых в уютном фольварке окончился.

Снова походной колонной кружим по дорогам, как всегда, не зная куда и зачем.

На полях нет снега. Только местами у бугорков, у взрытых комьев белеют наметенные кучи серебристой пудры. Леса оголены. Дороги усеяны желтой, сухой листвой. Выплывают длинные полосы хвойных лесов, зеленых с желтеющими верхушками. Днем иногда показывается солнце, согревая и оживляя все вокруг. Чувствуется близость весны.

Я думаю о том, как тяжело и тоскливо станет, если убьют последних старых товарищей по роте — Былина, Родина, Нищенка. И без Чайки и Гончарова мне рота тоже представляется чужой и далекой.

Ловлю себя на том, что где-то далеко в глубине души я не верю в собственную гибель... Я не подумал, что Чайке и Былину, может быть, придется грустить обо мне...

И сейчас же в мозгу проносятся картины моей гибели... Пуля пробивает мне сердце. Я без мучений умираю. Сразу, без мысли без боли. Нет... Скорее меня разорвет снаряд. Услышу тяжелый вой в воздухе, и в тот же миг страшный удар, от которого лопаются барабанные перепонки... Взлетаю в воздух легко, как мяч... и падаю камнем. У меня оторваны руки и ноги, я красный обрубок, истекаю кровью... У меня глаза, как у того солдата на шоссе, или как у того немца, после нашей атаки. Они смотрят тускло и медленно стекленеют. Я последний раз вижу свет солнца. Хочу что-то сказать. Но в горле только хрип. И все кончено.

Да, технику умирания я знаю. Я здесь ее изучил. Умирают просто, без крика, как от разрыва сердца. И чистый, незалитый кровью труп лежит, как спящий человек. Умирают с перебитыми конечностями, оторванными челюстями. И труп похож на бесформенную массу окровавленных тряпок... Умирают медленно, хватая цепенеющими руками руки санитара. Глаза неподвижны, нос заостряется и синеет, губы сохнут, лицо сереет и покрывается холодным потом... Рот широко раскрыт, но дыхания больше нет...

И неужели и меня сбросят вместе с другими трупами в черную яму...

Неужели я не увижу своего дома, большого города, людей, не услышу музыки?

И Петербург... Я никогда больше не увижу этот необычайный город... Его белые ночи... Изумрудное, голубое и прозрачное, с розовым и темным дымком, вечернее небо над Невой и взморьем, зеленый четырехуголник Летнего сада с черной решеткой ограды и убегающим от него на острова пароходиком... Не увижу, стоя на набережной возле сфинксов, оберегающих Академию, или у красных стен Университета, тонкие контуры трех мостов через Неву, Сенатскую площадь, бессмертное творение Фальконета на гранитной скале, колонны Исакия и Зимний дворец... И гранитную ограду Невы, и полукруглые спуски к воде, и Зимнюю канавку, и сырую свежесть островов... И тихой июньской ночью я не буду ходить по пустынной набережной, смотреть на черные силуэты фабричных труб, тонкий шпиц Петропавловской крепости, белую колоннаду Адмиралтейства и неясные очертания домов...

Нет, я ничего больше не увижу... И мечты не спасут. Разве мечты спасают? Разве Василенко не мечтал о солнечной весне, о ласковой земле, о больших желтых подсолнухах, о кавунах, о песнях дивчин летней ночью?..

Нет, я погибну. И в помраченном сознании в последний раз вспыхнет все, что я так любил и о чем мечтал...

Все останется так, как было... Только мое изуродованное тело будет разлагаться, окруженное такими же гниющими трупами погибших рядом со мной, ни в чем неповинных людей...

Мы пришли в еврейское местечко. Оно похоже на десятки других в Польше. Деревянные домишки, серые и покосившиеся, дряхлые и пропахшие нищетой. Древние старики в длин-

ных до полу пальто, седобородые и сгорбленные, желтые старушки в париках и с платками на голове, бледные девушки и кучи грязных детей. Но сегодня все местечко смертельно напугано слухами: из всех местечек, по приказу верховного главнокомандующего, высылают все еврейское население «в виду близости фронта и возможности содействия неприятелю»... По всем дорогам гонят десятки тысяч людей к железнодорожным станциям, где их грузят, как скот, в товарные вагоны и отправляют в тыл в черту оседлости.

В двух верстах от местечка, в богатом имении, расположился штаб дивизии. Мы на охране штаба. В клубине большого сада, окруженного кирпичной стеной, в богатом доме звонят телефоны, бегают телефонисты, ординарцы, вестовые, денщики. Сверкают погоны, блестят аксельбанты, звякают шпоры, покрикивают адъютанты.

Присзжают и уезжают конные ординарцы. Шумят мотоциклы, команды связи разматывают катушки, натягивают провода. Стоят, выстроившиеся в ряд, двуколки, повозки, экипажи.

У дверей комнат, в коридорах, вокруг дома и у ворот — часовые.

У ворот толпа солдат. Мы слышим раздирающий женский крик. Женщины — молодая и старая — с растрепавшимися волосами, неодетые и взлохмаченные, жестикулируя, истерически кричат. Их голоса пронзительны, и слова не ясны. Женщины кричат наперебой, и дети заглушают их своим плачем. Они хотят пройти в штаб, но их не пускают часовые. Старая женщина падает на колени и пытается поцеловать руку часового, но он ее отталкивает.

Мне с трудом удается узнать от них, в чем дело. Мужа старухи и мужа ее дочери ночью арестовали по приказу из штаба. Их сосед, поляк, донес, что они шпионы. Он же объяснил женщинам, что их мужей повесят...

Я их успокаиваю, объясняю, что не могут повесить людей по одному только доносу. Их освободят или будут судить и оправдают. Но женщины не слушают и в отчаянии рвут на себе волосы. У них уже нет слез, голоса охрипли, глаза горят мольбой и безумием...

Обещаю им узнать о мужьях и ухожу в штаб.

Но узнать что-либо — трудно. Я могу расспрашивать только солдат. Постепенно удается узнать от сменившихся утром караулов, что ночью судили двух евреев и осудили к повешенью. Единственное основание к обвинению — донос

соседа, заявившего, что старик и его зять переходили неоднократно к неприятелю... Напрасно несчастные умоляли допросить кого угодно из населения и местечковых властей, чтобы убедиться, что они ни на один день не отлучались из дому. Полевой суд не допрашивает свидетелей... Арестованных на рассвете повесили...

В глубине сада, далеко за домом, где аллеи и дорожки упираются в кирпичный забор, на старом, наклонившемся дереве, первым казнили молодого. Старик видел, как снимали тело зятя.

Я хочу солгать женщинам, сказать, что их мужей отправили в Варшаву.

Медленно, нерешительно иду к воротам поместья. Обдумываю, как изложить спокойней и правдоподобней рассказ о Варшаве. Но, приближаясь к выходу, слышу, как женщины кричат истошным голосом и, упав на землю, бьются об нее головой... Дети, уцепившись за женщин, громко плачут...

Кто-то из солдат сказал им правду...

Мы снова приближаемся к фронту. Ночью слышна далекая канонада, и полыхает зарево пожара. Днем по дорогам тянутся бесчисленные части, орудия, обозы, санитарные линейки.

В потухших и равнодушных глазах солдат — покорность и обреченность. Обросшие, грязные и лохматые, не видя неделями человеческого жилья, копошась в земле, мы начинаем походить на пещерных людей... Наши немытые месяцами лица, покрытые толстым слоем грязи, жира и пота, небритые много недель щеки и подбородки и посеревшие от грязи папахи — делают нас похожими на человекоподобных животных...

Мы плохо реагируем на окружающее, окончательно теряя способность мыслить. Наша дикая жизнь кажется нам естественной и понятной, будто другой не может быть.

Проходят недели, месяцы... Мы не знаем ни чисел, ни дней...

Нас ничто не волнует, не тревожит, не пугает. Души опустошены, разорены и сожжены, как деревенские халупы после артиллерийского огня. Нет надежд, нет веры, нет желаний, нет жалости... Мы движемся апатично, вяло, бездумно и сонно. Чужие страдания, кровь и чужая гибель нас не беспокоят, как не пугает постоянная угроза собственной смерти.

Мы встречаем странную группу из трех человек. К обеим рукам солдата, чуть повыше кистей, крепко привязаны веревки, концы которых держат двое солдат, идущих по сторонам. У солдата нет винтовки и амуниции, нет пояса и вещевого мешка. Его тащат за веревки, как упрямого быка на убой. Солдату лет тридцать пять. На бледном, серо-землистом лице, покрытом грязью, торчит, как кустарник, жесткая щетина бороды и усов. Глаза, серые и неподвижные, глядят куда-то далеко вперед. Его губы и нос морщатся, складываясь в гримасу, будто для плача. Подбородок трясется, хотя челюсти конвульсивно сжаты. Он пытается для чего-то поднять руки, но бессильно опускает их, вскрикивая от боли, причиняемой веревками... Он боится итти вперед, пространство ему внушает ужас. Но его тащат веревками, впивающимися в его тело, и он идет, обессиленный, истерзанный, съедаемый жестоким страхом. Больной мозг горит безумием. И там, впереди, ему мерещатся гром орудий и стоны людей, воткнутые в горло штыки и расколотые пополам черепа, которые он оставил вчера...

Он ушел, но перед моими глазами долго движется странная фигура в рваной шинели и с веревками на руках, и качается серое, обросшее, безумное лицо с широко раскрытыми глазами.

Дорога хранит следы недавних боев. Слева и справа разрушенные окопы, остатки проволочных заграждений, огромные воронки, брошенные двуколки, трупы лошадей... Местами окопы разворочены и образовали воронку с центром на дне окопа. По полю разбросаны осколки, головки и иногда почти целые стаканы снарядов. У окопов патронные гильзы, ломанные немецкие винтовки.

До сих пор не перевелись у нас охотники добывать «трофеи». Тащат винтовки, штыки, шашки, каски. Зачем — непонятно. Своего добра хватит — не утащить. Маленькие кавалерийские винтовки попадаются редко. Берут большие. Тащат с собой день, другой, потом бросают. Потом, натыкаясь на новые, опять волокут. И сейчас так. Мы идем к линии огня, но многие бегают к старым окопам, долго там рыщут и находят всякую дрянь...

В стороне от дороги, среди редкого леса, небольшая поляна покрыта толстым слоем сухих желтых листьев. На краю поляны тянется длинный, свеже насыпанный холм, местами покрытый нарезанной зеленью елки... Посреди холма врыт большой деревянный крест. Под крестом вдав-

лена в землю белая доска с простой, от руки, надписью, расползшейся синими потеками по разводам дерева. Под крестом похоронено сто сорок два человека...

Вокруг большой могилы разбросано много маленьких холмов. Некоторые без крестов, на некоторых тоненький крест из двух очищенных веток, связанных веревочкой.

Над поляной тишина. Тихо качаются деревья. Мягко шуршат листья под ногами солдат.

За лесом, вдоль узкой канавки, бегущей рядом с белыми березами, лежит длинная, прямая, как в строю, шеренга мертвых солдат в новых шинелях, одинаковых серых барашковых шапках, целых сапогах. Они принадлежали какой-нибудь вновь сформированной и заново экипированной части.

И шапки, и лица, и шинели, и руки, и сапоги покрыты синевато-серебристым инеем, и все похожи друг на друга...

Перебитые, очевидно, пулеметным или ружейным огнем, они не изуродованы, и на них почти нет крови и грязи. Лица все, как выкрашеннеы одной краской, голубовато-сиреневые. У крайнего бородатого солдата раскрыт рот, оскалены зубы, и полуоткрыты глаза. Он согнул в коленях ноги, и ступни стоят на земле. Лежащий рядом с ним повернул к нему лицо и смотрит открытыми глазами прямо перед собой, как будто пристально вглядывается в товарища...

Третий от края лежит, задрав ногу высоко вверх...

Нога нелепо торчит, вытянутая, как винтовка.

Дальше лежат два солдата, повернув лица друг к другу, как будто ведя беззвучную беседу...

Вот еще один, молодой и безусый. Полуобернувшись к рядом лежащему, он согнул в локте руку, и кисть приходится на уровне лица соседа. Он касается пальцами его подбородка.

На краю шеренги бородатый солдат поднял вверх длинную руку с огромным сжатым кулаком...

Кто-то пробует согнуть его руку, но она сухо трещит и не сгибается...

Любители новых сапог пытаются снимать их с мертвых, но сапоги как будто склеились с промороженными мышцами и не сдвигаются с места...

На привале мы встречаем большую толпу пленных. Многие успели обменять свои хорошие сапоги и теплые вещи на хлеб и табак. У них уже нет вещевых мешков, белья и того солдатского хозяйства, которые аккуратно содержит

в вещевом мешке немецкий солдат. Многие легко ранены. У них перевязаны головы, руки, лица.

Они хотят курить и с жадностью смотрят на наших, закуривающих папиросу или трубку. Некоторые решаются просить и получают окурок, едва держащийся во рту. Но им не дают затянуться больше одного раза—товарищи вырывают из рук жалкий огрызок. Пленные не ели со вчерашнего дня, но, мучимые голодом, они мечтают о табаке больше, чем о хлебе. Двое совсем молодых ребят, в неуклюже сидящих куртках, трогательно льнут друг к другу. Это, очевидно, давние товарищи, и в плену, на чужбине, они боятся отойти один от другого. Они держатся в стороне и робко, почти по-детски, глядят на нас. Отдаю им свой хлеб. Они нерешительно берут его, краснеют и долго благодарят... Совсем ребята. Они из одного города и из одной школы. Их пугает плен. Они слыхали, что казаки, сопровождая пленных, по дороге их убивают. Они знают, что казаки вырезают полосы кожи из спины немцев... У одного из ребят прыгает подбородок, он готов заплакать. Нас окружают другие пленные и наши солдаты. Объясняю пленным, что теперь их уже не тронут, что русские не злы и не жестоки.

Невысокий худой немец долго меня благодарит и жмет руку за щепотку табаку. Он баварец, слесарь; отец его также слесарь, работает на заводе. Немец говорит:

— Ни вам ни немецким рабочим война эта не нужна. Это тяжелый урок. Он научит нас...

Он говорит много, но я, хотя не все понимаю, перевожу нашим, округляя фразы отсебятиной, чтоб не ударить лицом в грязь.

Кто-то из наших говорит:

— А и здорово шпаришь ты понемецки. Прямо не спотыкнешси. И где ты только научился?

Артамонов, узнав, что говорит пленный баварец, не отходит от него. Он и меня не отпускает, заставляя переводить с немецкого. Держа меня за обшлаг, он настойчиво диктует.

— Слышь, скажи ему... Скажи, што, мол, верно это, правильно... И мы, мол, так понимаем — ни им, ни нам войны, дескать, не надо... Это Питер с Берлином, дескать, воюют, а народу, што русскому, што немецкому, в роде как на чужом пиру похмелье... Ну, шпарь...

Я протестую.

— Что ты, Артамонов, да мне с роду таких слов не перевести! Где мне!

— Ладно, ладно, шпарь милый! На то и образованный. Дела делать не умеете, это верно, а уж поговорить это вы мастера... Шпарь дружище!

Артамонов настойчив и властен. Я перевожу как умею. Баварец очевидно хорошо понимает. Он радостно хлопает меня и Артамонова по ладошкам и медленно с расстановкой, чтобы было понятно, говорит:

— Да, да... Нас бросили в чужую драку, нас впутали в чужое дело... Но, к сожалению, это далеко не все еще поняли... У людей головы затуманены словами «родина», «нация», «долг»... Если война хоть немного еще затянется, это поймут все... Это поймут, это обязательно все поймут... И тогда — горе тем, кто это затеял...

Я перевожу, стараясь ничего не пропустить. Артамонов напряженно слушает, глядя то на меня, то на немца. В его темных, глубоко сидящих глазах загорелись зеленые огоньки, он долго держит руку немца в своей и молча смотрит в его глаза, потом новым каким-то голосом, тихо, почти шопотом, говорит.

— Камрад... Гут... Хорошо... Понимаешь?..

И повернувшись ко мне прибавляет:

— Скажи ему — верно, дескать, скоро все поймут... Тогда, мол, повоюем... с кем надо...

Артамонов раздает свою махорку пленным и не отходит от баварца ни на шаг.

Былин рад за немцев.

— Трохи подзаложили нашего хлебца. Веселей стали, а то вот-вот ноги протянут.

Бородатый запасный нашей роты кричит:

— Эх, братцы, самое вкусное — это хлеб. Вкуснее хлебца ничаго нет.

Кто-то несогласен:

— Видать, ты ничего вкуснее не едал. Едало больно худое.

— Да худое, не худое, а жрал не хуже тебя. Тоже богатый нашелся!

Их кто-то примиряет:

— Вкусного на свете много. А только девствительно, как пузо хорошенько подведет, так верно, что ржаной хлебушко скусней медового пряничка...

К нам подходят из других батальонов.

— Здорово, ребята, как жуете?

— Жуем, коли чего наскребем. А не наскребем, то так проживем...

— Видать, сегодня наскребли. Аж немцев маненько подкрепили.

— А што — немцы. Таки ж, как другие. С глазам, с рукам, с ногам...

— Верно... А не повидамши их, думаешь: хуже чертей. Может, с хвостам, с рогам... Вон они какие смирные, воды не замутят.

— Смирные... А почнут шпарить с пушек аль с пулеметов, тогда будут смирные...

— Прикажут — почнут. И тебе прикажут — стрельнешь. По своей охоте пошел ты на фронт? Не по своей... И они не по своей...

— Конешно, никто по своей воли не пойдет... Дураков таких оченно мало. Всех заставляют. И наших, и немцев, и хранцузов, и других...

— А не пошли бы все... И войне бы конец...

— Да... Попробуй, не пойди...

— А што... Может, кому и надоест ходить. Походют и перестанут...

— Прикажут...

— А может, и приказу не послушают...

Потом разговор опять заходит о пленных:

— Ведь вот же тоже в Христа они веруют. Крест целуют, знамение крестное на грудь кладут. И поп-то ихний в бой их ведет с распятием. Господне благословение на ихнее оружие призывает.

— А што, братцы, и богу-то, выходит, нелегко. Все его просют. И русские, скажем, и хранцузы, и немцы, и турки. Помоги да помоги... А што ему делать? Одному поможешь — другому худо. Другому поможешь — этому худо... Вот незадача.

— Ну, он никому и не помогает. Деритесь, мол, как хотите. Ну вас всех к хрену...

— Это верно. Он один, а народу много. И все таперича молются и плачут... И солдаты, и ихние женки и матери, и дети, и попы, — все молются. Кто за здравие, кто за упокой... Такой до неба вой доходит — спасения нет...

— Нехай, кому треба то по шапке даст, и война тоды кончится...

— Может, и даст... А не он, так другие дадут...

Немцев гонят дальше. Их поднимают, считают и окружают редким кольцом конвоиров. Мы по-приятельски прощаемся с ними и угощаем перед уходом табаком. Они поднимают воротники и втягивают головы в плечи. Им предстоит долгий, тяжелый путь в глубину страны, в Сибирь, в даль и неизвестность.

Мы совсем близко к линиям окопов. Ветром доносит шум ружейной стрельбы. Близость огня и новых боев незаметно наполняет нас тревогой. Я думаю о том, что нет храбрости и нет трусости. Есть более крепкие и менее крепкие нервы. Но и те и другие становятся одинаковыми после нескольких боев. Наступает равнодушие, и приходит инстинктивный фатализм. Храбрецы те, кто сознанием или инстинктом постигли случайность всех событий на войне. Только вначале мы пугались каждого свиста пули, гула снаряда, шума мотора или грома разрыва. Мы падали камнем и лежали часами, врывшись носом в землю, или лежали на дне окопа, прикрываясь лопаткой. Потом мы поняли, что хотя беречься, где можно, надо, но все зависит от случайности, от тысячи случайностей...

Сколько людей уходило невредимыми из десятков боев, из-под страшного огня, из жестоких атак, а потом сидящего в резерве настигала неизвестно откуда залетевшая пуля и укладывала на месте.

В нашей роте однажды после кровавой атаки, при полной тишине и отсутствии неприятеля, во время чистки винтовок земляк земляка по неосторожности убил наповал...

Под Стрыковым, когда мы окопались под огнем, нам было вдруг приказано передвинуться влево. Мы, ругаясь и проклиная все на свете, передвинулись. А через час, в том месте, где я раньше сидел, разорвался снаряд, разворотивший на три сажени окопы и превративший пять человек в рваные куски мяса...

Храбрыми мы считаем тех, кто спокойно идет на смерть, кто отдает сознательно свою жизнь. Я таких не вижу. Люди идут, потому что другого выхода нет. Исключение — такие, как капитан Воздвиженский... Их мозг затуманен фанатическим патриотизмом и воинским уставом.

И кресты получают невольные храбрецы, храбрецы, идущие на риск по необходимости и случайно возвращающиеся.

Поручик тринадцатой роты, собиравший добровольную команду для разведки, позвал и меня. Я пошел, потому что

мне было все равно. Я не хотел умирать и не собирался жертвовать своей жизнью. Но сидеть в окопе и ползти темной ночью по полю — одинаково опасно. И я пошел. Крест, который я получил за эту разведку, — награда за то, что я случайно не погиб...

Навстречу нам движется длинная вереница двуколок и линеек. С позиций везут раненых. Многие без сознания. При каждом толчке двуколки подпрыгивают, и раненые громко стонут. Им предстоит проехать много верст до железнодорожной станции. Дорога мучительна. Для тяжко раненых — она гибельна. На многих повязки промокли и горят огромными кровавыми пятнами. В одной линейке раненый в бреду сорвал повязку. Линейку останавливают, и фельдшер здесь же с большим трудом накладывает новую повязку.

Мы узнаем, что сегодня немцы дважды атаковали наши позиции. Атаки отбиты, но потери огромны. Ждут новой атаки.

Мы сегодня сменим разбитые и усталые части. Нам никогда не уйти из заколдованного круга смерти и крови... Ожидание боя всегда страшнее самого боя, и мы думаем с тоской — скорей, скорей бы все это сделалось, скорей бы все это окончилось.

Нас отводят в сторону от дороги. Мы стоим между деревьями и смотрим на проходящие по дороге части пехоты и артиллерии. По левой стороне дороги с грохотом летит батарея. В орудия запряжены по три пары лошадей. Лохматые сибирские малорослые лошади устали и покрыты потом и пеной. Над лошадьми подымается пар.

А рядом торопливо движется пехота. У них одинаковы только шинели и винтовки. Все остальное у солдат разнообразно и разноцветно. Шапки черные и серые, папахи лохматые — высокие и маленькие, ватные кепи с большими наушниками, просто шарфы и тряпки через картуз. На ногах обмотки, валенки, сапоги и рыжие ботинки.

Лица однообразнее шапок. Они сливаются издали в одинаковые желтые маски, на которых темнеют пятна носов и ртов. Как будто это не люди.

Нет людей. Есть усовершенствованные автоматы. Надавят кнопку — автоматы стреляют; надавят другую — автоматы бегут, кричат ура, вкалывают штыки в неприятельские автоматы; ослабнет пружина — автомат бежит назад; разорвется над ним снаряд или настигнет пуля — автомат портится, ломается, разлетается в куски и выходит из строя.

Если бы только в этом автомате не было живых, трепещущих человеческих мышц, горячей крови, сложного мозга, пульсирующего сердца... Если бы только этот автомат не боялся смерти, не жаждал жизни, солнца, любви, не стремился бы к теплу и уюту, не мечтал бы о счастьи... Если бы только этот одушевленный автомат не был бы никем любим, если бы никто по нем не тосковал, если бы только он не был ничьим отцом, мужем, братом, сыном... Если бы он не был ни для кого «единственным в мире счастьем»...

Части беспрерывным потоком текут к окопам. Артиллерия, патроны, двуколки, кухни, санитарные линейки. Потом снова пехота...

Нас поднимают. Мы идем не по дороге, не к окопам, а лесом, отдаляясь от дороги. Нас куда-то перебрасывают. Куда? Лучше или хуже? Что можно знать? Ничего. Везде хорошо. Мы идем тропинками, между пней и коряг. Остро пахнет хвоей. Перепрыгивая через канавки и пни, спотыкаемся о каряги. Лошадей ведут под уздцы.

Чайка, плотный и отяжелевший, переваливается с ноги на ногу. Ревматизм его измучил. Он кряхтит, с трудом перелезая через мелкие препятствия.

Голова колонны задерживается. Полк останавливается. Передние батальоны рассеиваются по лесу. Долго стоим на месте, потом врассыпную направляемся туда, где остановился первый батальон. Издали видны брустверы окопов. Наши солдаты окружают их. В окопе сидят солдаты. Головы их упираются в брустверы. Некоторые сидят внутри окопов, и видны только шапки. У окопов лежат в одиночку и группами несколько десятков солдат.

Мы расспрашиваем стоящих у окопов:

— В чем дело?

— Да, видишь, целый батальон четвертого полка перебили с тылу...

— Как с тылу?

— Да так. Должно — карту перепутали... Спиной к неприятелю окопались. Разведку вперед послали. С тылу заставу не поставили, или немцы ее перебили... Ну, сзади тихонько подошли, вплотную подползли, да вдруг из пулеметов да из винтовок, чуть не в упор, по спинам да по затылкам, как двинули...

— Ну?

— Ну что? Ясное дело... Почти весь батальон перебили. Остальных в плен увели... Поди погляди! Вон в том

конце батальонный сидит. Как сидел, так и остался. Только с дырой на голове...

Кто-то замечает:

— Должно, и раньше с дырой был. Целый батальон сгубил. Карту перепутал... Вниз головой ее, что ли, держал...

— А кто знать может? Может, ее в штабе спутали, или неприятель зашел в тыл.

— Ежели с пути собьешься, то и карта ни хрена не поможет. Мы с поручиком Покровским в разведку шли. Днем дело было. Идем лесом. Идем, значит, тихо, спокойно. Никаких происшествиев. Только вдруг позади нас далеко слышим пулеметы, и винтовки шпарят. Как так? Што за стрельба? Ведь сзади наши части. И никакого там неприятеля нет. С кем перестрелка? Я говорю: «Ваше благородие, это, — говорю, — мы закрутились, назад идем, наши впереди». А он: «Что ты, — говорит, — путаешь? Неприятель впереди» и смотрит на компас, на солнце, на карту... Я кричу — позади; а он кричит — впереди. Пошли назад. Только мы шигов сто прошли, смотрим — между деревьями немчура, шмыг, шмыг... Мы давай бежать. Бежим, в печенках колет, аж сердце разрывается... Потом, слава богу, видим — наш полк. Пошли шагом. А я кричу поручику: «Эх, ваше благородие, не гляди, — говорю, — никогда на компас. Што оно, — говорю, — такое — компас? Стрелка, как душа неприкаянная, во все стороны болтается... Што она, — говорю, — знает... Куда ни поверни, а она поболтается, поболтается, а потом, как пьяница на кабак, все в одну сторону глядит»...

У боковой стенки крайнего окопа, приткнувшись, сидит без шапки подполковник с крупной, круглой, стриженой головой. Сзади, над затылком черное пятнышко с запекшейся кровью. Лицо прижато к передней стенке окопа.

На дне окопа сидит на корточках солдат. Наши солдаты его вытаскивают. По всей линии окопов лежат и сидят мертвые солдаты.

Среди убитых много совсем молодых, очевидно, недавно присланных новобранцев. У них безбородые и безусые лица, тонкие шеи и гладкая кожа.

Нам приказывают рыть могилы. На полянах намечают места, и мы начинаем в трех пунктах копать ямы. Потом приказ отменяют. Нет времени. Нужно к сроку притти к назначенному месту. Мы собираем тела в одном месте и кладем их в ряды. Уже выложены семь рядов по пятьдесят человек, но в окопах и возле них лежат еще неподобранные.

В стороне от больших рядов лежат четыре офицера — подполковник, поручик и два прапорщика...

Полк собирается, стягивается и двигается дальше.

Заходит солнце, и лес окрашивается в ярко-красный, багряный цвет. Стволы деревьев и зелень объяты ярким пламенем сверкающего золота...

Затем опускаются синие сумерки, сразу превращаясь в черную тьму...

По лесу идем в густой темноте гуськом, держа один другого за шинель. Таких цепей справа и слева много. Говорят, что неприятель близко, слева от нас. Надо пройти бесшумно. Мы идем почти в полной тишине. Разговоры умолкли, котелки подвязаны, винтовки на ремне. Погасли огоньки папирос. Все цепи вдруг останавливаются.

По рядам проносятся шопот и шиканье:

— Тише... тише... шшш... шшш...

В наступившей тишине ясно слышно глухое движение обоза на мощеной дороге. Потом доносятся топот многочисленных шагов и обрывки немецкой речи. Отдельные слова долетают совершенно ясно.

Мы боимся шелохнуться или произнести даже шопотом пару слов. Движение на шоссе продолжается долго. Нервное напряжение проходит. Мы быстро привыкаем к близости неприятеля и стоим спокойно, будто уступаем дорогу нашим частям. Стоя у деревьев, многие дремлют. Ноги затекают, но мы неподвижны.

Постепенно голоса затихают, топот больше не доносится, и слышно только далекое ржание лошадей. Понемногу стихают и эти звуки.

Стоим еще некоторое время и идем дальше. Даже серая шинель Родина, которую я держу за хлястик, сливается с темнотой ночи. Мы спотыкаемся, натыкаемся на соседей, налетаем на деревья и ругаем друг друга.

Это странное движение вперед в непроницаемом мраке, с широко раскрытыми, ничего не видящими глазами, мучительно утомляет.

И вдруг удар, падение, сумасшедшая боль в ноге. Я влетаю в маленькую яму. Одна нога остается наверху, другая, неся на себе всю тяжесть тела, падает на дно. Ступня подворачивается, и я всем грузом обрушиваюсь на нее. Острая боль доходит до сердца и сжимает его, обливая ледяным холодом...

Цепь сразу обрывается и движется дальше без меня. Я что-то кричу. Но меня не видят. Люди боятся потерять

друг друга и не останавливаются. Я не могу встать. Страшная боль не дает шевельнуться. Чтобы подняться, надо упереться больной ногой. Напрягая все силы, отложив в сторону винтовку, упираюсь обеими руками и вылезаю, но итти дальше не могу. Цепи проходят мимо меня. Это уже чужие роты. Я никого не знаю. На фамилии никто не откликается. Но итти надо. Понемногу, опираясь на винтовку и волоча за собой ногу, я, с трудом перетаскивая ее через коряги, плетусь за цепями.

Всю ночь до утра мы идем лесом. Потом, пройдя несколько верст полем, входим в деревню. Нахожу свою роту. В большой халупе собрались все старые знакомые — Былин, Родин, Артамонов, Гончаров, Чайка. Несколько человек пытаются снять сапог с моей больной ноги, но это причиняет мне только жестокую боль. Приходится сапог разрезать от верхнего края голенища до задника.

Ступня совершенно потеряла свою форму. Она превратилась в распухшую массу с синей, натянутой и блестящей кожей. Опухоль, начинаясь у пальцев, кончалась выше щиколки.

Мы не успеваем полежать и получаса, как нас поднимает тревога:

— Поднимайсь, стройсь!

Это невозможно. Люди не могут подняться. Мы много суток не знаем отдыха. Мы десятки часов шли без передышки. Ночь напролет мы боролись с темнотой, тяжелой дорогой, канавами и пнями. У нас разбиты ноги, и болит все тело. Мы голодны. Нам нужен отдых.

— Поднимайсь! Становись!

Я кладу свой разрезанный сапог в вещевой мешок, ногу обматываю тряпками и веревками и, опираясь обеими руками на винтовку, выхожу. Чайка посылает Былина к врачу с запиской. Просит взять меня в линейку или двуколку. Но мест нет. Класть некуда. Все забито больными и ранеными.

Полк движется дальше.

Лица землисто-серые от усталости и грязи. Тусклые и безжизненные глаза ушли глубоко в орбиты. Губы потемнели. Ноги едва передвигаются.

Иду, тяжело ступая, медленно опуская больную ногу и тяжело дыша. Тряпки на ноге лохматятся, разматываются, и я часто останавливаюсь, чтобы их завязать. Чтобы не отстать от своей части, напрягаю последние силы, но скоро окончательно устаю и сажусь на землю.

За полком тянутся кухни, двуколки, лазарет. Знакомый фельдшер устраивает меня на двуколке. Здесь сидят еще двое больных. Втроем тесно и неудобно. Нас трясет и швыряет.

Проезжаем мимо железнодорожной станции. Станционные постройки разрушены, пути разворочены, деревья у садика расщеплены и свалены. Телеграфные столбы наклонились и опутаны оборванной проволокой... Платформа разбита и завалена кирпичом, камнем и штукатуркой... На путях — искромсанные остатки товарных вагонов, и валяются груды обломков, обгорелых шпал и изогнутых рельсов...

В стороне от станции стоит несколько санитарных линеек. Всех больных и раненых перегружают в линейки. Меня также отправляют. Я и рад уйти в лазарет, и жаль мне своих приятелей. Фельдшер сердится:

— Ложись, ложись скорей! Держи ногу выше! У тебя такое растяжение сухожилий — дай бог через пару недель подняться. Хорошо еще будет, если кость не треснула.

После двухдневного пребывания в полевом госпитале я попадаю в запасный, находящийся в маленьком городишке и помещающийся в здании гимназии. Запах разлагающегося мяса, гноя, экскрементов, мочи, застоявшейся крови и желудочных газов схватывает за горло...

Хромая, бегу назад в коридор и почти скатываюсь с лестницы. Во дворе легко и свободно дышится. Нет, я не вернусь в палаты...

Прибегает сестра. Она сердито кричит:

— Ты с ума сошел! Куда ты убежал?

— Сестрица, не пойду туда. Там действительно с ума сойти можно. Там невыносимая вонь... Не могу... Меня тошнит...

— Вы вольноопределяющийся?

— Так точно...

— Идемте, я вас устрою в чистой палате.

Иду за ней. Как бы мне не влипнуть в неприятность. Зачем я согласился быть вольноопределяющимся?

Но это меня спасает. Возле перевязочной — крохотная комнатка. В ней койка, заваленная бельем, ватой и марлей. Эту комнату освобождают и предоставляют мне. Комнатка на отшибе. Я здесь один. Меня стригут, ведут в ванную, и через час я лежу в чистом белье, на свежей постели.

Спасибо сестре! Она — хороший человек. И уважает вольноопределяющихся. Однако санитарка, которая мыла

меня в ванне, смотрит на это иначе. Хрипловатым контральто она ворчит.

— Да уж ладно! Чиво говорить. К кому добрая, а к кому и нет. Тожи андил небесный!

Мне строго велено лежать спокойно и не сходить с постели, но через несколько дней я понемногу начинаю сползать. Иду, опираясь на костыль, в соседнюю палату.

Удушливый запах иодоформа и карболки смешался с терпким запахом грязного белья, прокисшего пота, нечистого тела и гнилой соломы матрацов.

У самой двери лежит проснувшийся только что после хлороформа. Его рвет остатками пищи, потом желчью и кровью. Запах кислой отрыжки и рвоты заполняет весь угол. К нему невозможно подойти и помочь ему. Синее лицо и почерневшие губы покрыты потом. Мучительные позывы к рвоте сводят лицо его и шею судорогой. Веки закрытых глаз зловеще чернеют, как дыры черепных глазниц... Глаза, виски и щеки глубоко провалились, и подбородок острым концом торчит вперед... Слабым голосом он натужно и напряженно стонет.

Меня кто-то окликает из угла большой палаты:

— Кацо, иды ко мнэ!

На постели, ровно вытянув ноги, лежит неподвижно молодой брюнет. Его бледность оттеняется жгучей чернотой растительности и глаз. Он быстро и нетерпеливо расспрашивает меня обо всем, что касается меня, и, боясь, что я скоро уйду, просит:

— Садысь, давай мне твой кастыл!

Он тяжело ранен в ногу, потерял много крови и смертельно боится ампутации. Он жалуется, как ребенок, наивно и трогательно:

— Как я буду без нога... Нельзя жить без нога...

Но ему не дают много говорить — его зовут на перевязку. Он пугается и начинает громко плакать.

— Сестрыса дорогой, не нада... не нада сестрыса...

Сестра его убеждает, что сегодня не будет так больно, как вчера; что перевязывать надо обязательно каждый день, иначе начнется гангрена и надо будет ампутировать ногу.

Это его пугает. Он умолкает. Его укладывают на носилки и уносят в перевязочную.

Сквозь открытую дверь перевязочной виден стол, на котором лежит Коридзе. С его ноги снимают промокшие бинты с розово-желтыми пятнами сукровицы. Только передняя

часть его ноги сохранила кожу. Вся мякоть ноги от пятки до подколенной ямки вырвана, и на костях висят лохмотья мышц, покрытых гноем и сгустками крови... Эта штука не похожа на человеческую ногу. Это обглоданная собаками, еще горячая, дымящаяся кость...

Сестра подносит к ноге намотанную на палочку вату с перекисью водорода, и Коридзе кричит:

— Сестрыса, се-стры-са, не на-да, не на-а-а-да!..

Его вопли несутся по всему коридору и доходят до палат. Сестра быстро и ловко проводит квачем по ране. Рана покрывается беловатой пеной и мелкими пузырьками. Края смазываются иодом, и на ногу накладывается гора марли. Потом долго бинтуют широкими бинтами.

В госпитале всего три врача.

После утреннего обхода они работают в операционной много часов под ряд. В дни доставок новых партий раненых они оперируют с утра до позднего вечера и в экстренных случаях по ночам. Перевязки, даже самые тяжелые, сложные и опасные, делают сестры без врачей.

Старший врач со дня окончания университета до начала войны был в Петербурге санитарным врачом. И хирургический нож он в последний раз держал в руках на втором курсе медицинского факультета, когда он кромсал трупы под опытным руководством авторитетного сторожа при анатомическом театре...

С тех пор, надо думать, он забыл даже элементарную анатомию, не то что хирургию. А теперь он главный врач хирургического госпиталя и делает сложнейшие операции в области брюшины, дыхательных органов и мозга...

Его помощник — венеролог. Нет оснований сомневаться в том, что он удачно промыл протарголом много пораженных гонококками каналов. Вероятно и то, что он не однажды вколол в вену острую иглу шприца, наполненного неосальварсаном. Но менее вероятно, что это его достаточно подготовило к операциям удаления осколков шрапнели из легкого, к лечению простреленной почки или восстановлению челюсти...

Третий врач, гладенький и вылощенный юноша, сынок петербургского папаши, только что досрочно вылупившийся из университета, естественно вообще ничего не знает. Он должен работать под руководством опытных врачей.

А опытные врачи — узкие специалисты, модные штучки больших городов. Это не те провинциальные земские врачи,

которые лечат туберкулез, оперируют аппендицит, трепанируют череп и принимают ребят...

И вот, волею судеб, санитарный врач, венеролог и петербургский франт — во главе хирургического госпиталя, пропускающего десятки тысяч раненых.

Оттого ежедневно ампутируют здесь десятки рук и ног. Оттого ежедневно под ножом врача умирают многие, смерть которых вызвана только оплошностью хирурга... Оттого погибают от удушения хлороформом, истекают кровью, умирают от сепсиса...

Я стою у двери, стараясь увидеть операцию. Из комнаты несется густой сладкий запах хлороформа и тяжелый — гноя и крови. Вокруг операционного стола — все врачи и несколько сестер. Главный врач стоит спиной ко мне. Он долго и настойчиво что-то делает, будто месит рукой. Потом он отходит от стола. Весь халат спереди залит кровью. Засученные рукава до локтя оголяют руки, наполовину покрытые липкой кровью. Больной лежит на левом боку. На спине под правой лопаткой зияет огромная, больше кулака, глубокая рана, сочащаяся кровью. Сквозь рану темнеет легкое... По спине сбегает красная струя. Врач с бледным, вспотевшим лицом возвращается и всовывает всю кисть руки в рану, пытаясь достать из легкого осколок снаряда. Он ворочает кисть руки, как ворочают в пустом глубоком кармане, стараясь найти монету. Операция тянется долго и тяжело, но безуспешно...

Внезапно молодой врач, дающий хлороформ, бросает маску, операцию прекращают. Начинается суматоха, возня, беготня... Рану быстро тампонируют и перевязывают. Больного тормошат, поворачивают со стороны на сторону, его язык держат щипцами, в рот ему что-то вливают и кричат прямо в ухо, вдалбливая громкие звуки. Затем его укладывают на носилки. Его голова беспомощно болтается, руки висят, как тряпки. В палате еще долго над ним возятся.

На его место кладут другого. Операции продолжаются...

Все дни я брожу по палатам. В одной из них лежат больные столбняком. Их несколько человек. Самый страшный из них — Лихачев. На его истории болезни написано: тетанус.

Больной лежит на постели, конвульсивно согнутый дугой, опираясь только пятками, затылком или головой, как борец на «мосту». Голова его запрокинута назад. Челюсти судорожно сжаты. Хождение по коридору, стук шагов, хло-

панье дверей — вызывают судороги всего тела, причиняющие невыносимую боль в мышцах.

От бацилл, врывающихся вместе с комьями земли при ранении осколком, развивается тяжкая болезнь. Она сводит мышцы тела жестокой судорогой, и тело постепенно каменеет. Яд, вырабатываемый бациллами тетануса, схож с ядом стрихнина...

Сестра с трудом кормит Лихачева. Столовой ложкой она раздвигает его челюсти и вливает в рот молоко. Но молоко булькает во рту, не проходя дальше...

С больного сваливается одеяло. Вижу судорожно втянутый живот, похожий на живот борзой...

Он с трудом дышит. Температура доходит до сорока двух. У него начинаются судороги дыхательных путей. Ноги и руки вытягиваются, как палки. Воздух со свистом выходит через нос. И больше не входит... Спазма сжала горло и не отпускает его. Долго еще его тело остается судорожно сжатым и жестким.

Рядом лежат такие же больные. Большинству грозит участь Лихачева.

В один из вечеров, после операций, врачи отдыхают в комнате сестер. Главный врач, сидя на диване с папироской в зубах и окружая себя облаком дыма, подсчитывает количество ампутированных за неделю рук и ног: семьдесят пять рук... Сорок ног... Семьдесят пять и сорок...

У трех солдат ампутированы обе руки. У трех — обе ноги. У трех — по руке и ноге. У одного — руки и ноги...

Многие из них умерли. Остальные отправлены в тыл. Причины ампутации делятся почти поровну — раздробление костей и гангрена.

Врачи и сестры смертельно устали. Они садятся на диван и стулья, будто падают, и долго остаются неподвижны.

Один венеролог не сдает. Он обожает анекдоты. Он может их слушать и рассказывать без конца. При этом он сам громко и заразительно хохочет, смакуя отдельные словечки и удачные фразы. Героями рассказов он делает себя и своих знакомых:

— У нас тут в пятой палате Каплан лежит. Ранен пулей. Входное отверстие со стороны спины. Я его спрашиваю: «Что ж ты, Каплан, струсил, зачем бежал от немца? Ну, сознавайся, — ведь ты трус». А он отвечает: «Ах, ваше благородие, лучше быть пять минут трусом, чем всю жизнь покойником...»

Сестры смеются. Одна из них — единственная в компании краснощекая и цветущая, совсем малявинская баба, только слегка смягченная и облагороженная белой косынкой. Крикунья и хохотунья, она, как настоящая общинная сестра, заворачивает такие словечки и фразы, что даже врачи смущаются... Круто посолив и поперчив каждое словечко, она рассказывает, как у них в общине сестры наказывали подругу за опоздания на дежурство:

— Мы ее всей компанией схватим, в перевязочную втащим, чего полагается задерем — и ставим клизму... Вот хохот, бывало. Она кричит, плачет, а мы вставим...

Сестры хохочут. Венеролог опять рассказывает:

— Я в дивизионном госпитале работал. Работали сутки напролет. Кромсали, как попало. Ампутировали налево и направо. Раненых класть некуда. Лежат на полу, на столах, в коридорах, во дворе... Умирают пачками. А тут является ксендз утешать солдат-католиков. Подходит к одному, к другому, пробормочет чего-то, даст распятие поцеловать и дальше идет. В одной палате в углу, на полу лежит тяжело раненый еврей Свирский... Перепутал, что ли, ксендз, или фамилия его сбила с толку, но он подходит к Свирскому и протягивает ему распятие. Свирский не движется. Ксендз спрашивает, протягивая распятие ближе: «Знаешь ли ты, сын мой, что это?» А Свирский этак печально улыбается и говорит, глядя на меня: «Хорошенькое дело... У меня пуля в животе, а он мне задает шарады...»

В компании хохот.

Юный доктор, шлифуя розовые ногти замшей, рассказывает:

— Один солдатик, еврей, приносит после боя неприятельское знамя. Ему дают за это Георгия. После следующего боя — он опять тащит знамя. Ему опять Георгия. Так он четыре знамени притащил и все четыре Георгия получил. Восхищенный полковой командир спрашивает: «Ну, скажи ты мне, Абрамович, как ты умудряешься доставать знамя?» А Абрамович отвечает: «Видите, ваше высокоблагородие, у меня двоюродный брат в германской армии служит, так мы с ним меняемся...»

Смех прерывает дежурная сестра. Прибыла новая партия раненых.

Их вносят на носилках одного за другим в приемный покой и оттуда разносят по палатам. Многих нужно срочно оперировать. Многие без сознания. Раны у доставленных

покрыты бинтами, намотанными горой. Бинты промокают, и сквозь них сочится кровь...

В палатах больше нет мест, и раненых кладут в коридорах на пол. Пленные оставлены напоследок. К ним не подходят. Раненые заполняют все лестницы, коридоры и двор.

Простреленные груди, развороченные животы, проколотые горла, оторванные челюсти, раздробленные кости, разбитые черепа, выбитые глаза и тяжелые контузии всего организма...

Из всех палат несутся стон, крик и плач. Больные в бреду разговаривают и ругаются.

Пленные просят воду. Приношу кувшин с водой и кружку. Они жадно пьют и просят еще.

Красивый светлорусый немец тихим, едва слышным голосом зовет сестру. Он повернул лицо, бледное, с огромными серыми глазами, и смотрит на сестру:

— Schwester, ich kann nicht Urin lassen.

Голос его так слаб, что его едва слышно. Я передаю его слова сестре. Сестра пробегает дальше:

— Ладно, потом катетер принесу.

У одного немца лица совсем не видно. Оно все забинтовано. Сквозь оставленные в бинте дырочки темнеют глаза. У него оторвана челюсть. Как он будет жить?.. Как будет есть и говорить?..

Издали он похож на снежную бабу, одетую в солдатский мундир.

В операционной и перевязочной работа не прекращается всю ночь.

Уже наступает рассвет. Нежный рассвет теплого, почти летнего дня. В палатах и коридорах серый сумрак. Тихо спускаюсь во двор. Глаза воспалены. Я устал от бессонной ночи, духоты, вони, иодоформа.

Как прекрасно во дворе и в саду. Свежая светлая зелень сада, покрытая еще ночной росой, блестит и розовеет, озаренная ярко-красным солнцем.

От сада несет спасительной свежестью цветов и влажной земли. Воробьи подняли ребячий шум и гомон, тучами перелетая с места на место.

Как хорошо! Жадно и глубоко втягиваю прохладный, насыщенный весенней радостью воздух.

Солнце поднимается выше, зелень становится светлей, и воздух насыщается теплом. Сижу на скамье, согреваемый

солнцем, убаюканный радостью весеннего утра, шелестом листвы и птичьей музыкой... Как хорошо!

Но надо вернуться в палату. Сегодня ухожу из госпиталя обратно на фронт.

Я прощаюсь со своими новыми знакомыми.

Многих уже нет. Одни умерли, других отправили дальше. Коридзе умер. Раненый осколком под лопатку, — умер. Молодой солдатик, раненный в грудь, три дня назад диктовавший мне письмо к матери, — умер. Еще многие умерли... Вчера, третьего дня говорили, диктовали письма, плакали, мечтали о доме. Сегодня их нет...

В палате тихо. Я сижу на койке Каплана, о котором так весело рассказывал венеролог. Каплан ранен не только в спину, но и в живот. По его иссиня-желтому, ввалившемуся у висков, под скулами и у глаз, лицу проходят черные тени близкой смерти... Серые губы пересохли. Тонкий нос обострился и пожелтел. Каплан часто и поверхностно дышит, полуоткрыв неподвижный рот... Холодными и влажными руками он держит мою руку.

Лицо его морщится в гримасу плача, но мышцы полупарализованы и не послушны. Плакать он уже не может... Только две маленькие капельки выжимаются в углах его глаз...

На соседней койке — гангрена легких. И при каждом выдохе из груди больного вырывается струя невыносимой вони, отравляющей всю палату. Вблизи сидеть совсем невозможно.

Глаза раненого закрыты. Грудь часто поднимается. На шее бьется синяя жилка. Лицо застыло.

На последней койке контуженный. Он крепко привязан простынями к ножкам койки, но под простынями тело ходит волнами от внутренних судорог. Тело содрогается, вздымается у живота горой и откатывается к груди, как будто внутри движется что-то живое, не находя себе выхода...

Нас несколько человек отправляют в штаб корпуса. Хочу попасть в свой полк. Утром мы строимся во дворе госпиталя, нам вручают документы, и мы уходим. Сестры нас провожают до ворот.

Я опять в своем полку.

В шестнадцатой роте ничего не изменилось. Те же люди, те же рваные шинели, обросшие грязные лица, усталые глаза. Чайка заметно обрюзг, пожелтел, посерел. Он уже подпол-

ковник, но его это не радует. А давно ли он мечтал дослужиться до штаб-офицерского чина и выйти в отставку, чтоб заняться живописью? На гладких защитных погонах проведены химическим карандашом две полоски и нарисованы три звездочки.

Наша армия отступает. За последние месяцы отданы большие и малые города, целые уезды и губернии. Атаки немцев обрушиваются с неслыханной силой и жестокостью. На маленькие участки нагоняют сотни пулеметов, орудий, танков, аэропланов.

Мы чувствуем превосходство неприятеля.

Солдаты никогда не знают, что делается за пределами их роты. Они не имеют представления не только о том, что творится на фронте, но даже в пределах бригады и полка. Часто свою неудачу принимают за победу, и наоборот.

Но теперь все знают, что армии отступают.

Солдаты уже научились ненавидеть тыл и тыловое начальство:

— Воевать посылают, а обуть не во что. Сами-то, небось, саноги с гармошкой носят. А тута на сырой земли босиком сиди.

— Немцы не зря прут самосильно. У них морды — што у твово кабана. В вещевых мешках и сыр, и колбаса, и шикелад.

— И што за народ такой — хрен его знает. Сами такие умные, или начальство ученое, или царь их вроде Наполеона. Один ведь—противу всего света.

— Ну, не один. Им австрияк помогает. Опять же — турок...

— Ну, турок... Так только, меж ногами путается. Какой из его вояка! Лахудра... У его нос длинный — сует куда не надо.

— Сует, не сует, а немцу от него помощь большая. Сколь народу на тот фронт напихано. А могли бы сюда послать.

— А кухни-то, пока што, не едут. Опять жрать не привезут.

— Который день на одном аржаном сидим. Сволочь поганая, сука нестроевая, где они с кухнями путаются...

— Надо до батальонного итти. Пускай звонит в штаб — почему народ не кормят. Голодный не навоюешься...

— Не накормят, сами пойдем кухни искать. Пущай пока штаб здеся повоюет...

— Пойдешь, пожалуй. Сдохнешь тут, а никуда не пойдешь.

Былин, веселый, живой Былин — крепко сдал. Постарел, увял, оброс и как-то обмяк, опустился. Он мне рассказывает, как доставили сюда подарки.

— Я здесь вспоминал тебя. Вот бы тебе побалакать с ими. Таки дамочки—абрикосы... Приперли нам махорки, подметок, белья и теплых подштанников... «На што, — говорю, — милые дамочки, нам подштанники?.. Дюже, — говорю, — в их жарко убегать будет, потому, — говорю, — лето на дворе...» А вона говорит: «Звините, милый солдатик, мы, — говорит, — еще зимой их готовили, да не успели; вы, — говорит, — солдатик, их спрячьте до той зимы...» Видишь, куда загибает, — до той зимы. У ней глаза не вылазят. Она до зимы ждать может. Ну, махорку то мы скурили, а подметок прибивать некому, бо уси сапожники в тылу на оборону работают, а тут никого немае... А так — барыньки действительно ласковы, румяны — черешни, ей-бо. От бы хоть разок такой попользоваться...

Наши окопы беспрерывно укрепляются. Нам помогают саперы. Подвозят лес, колючую проволоку, роют ходы сообщения, делают блиндажи для пулеметов. Позади наших окопов роют резервные.

Пока здесь тихо, солдаты хозяйничают в соседних деревнях. Воруют кур, уток, поросят. Днем сидят раздевшись, и греют спины, сушат портянки, штопают шаровары и ведут бесконечные разговоры.

— Не наче — скоро мир. Немец не идет, может, кумекуют — воевать али мириться.

— Немцы первые миру не попросют, немцы гордые...

— А чего он просить станет? Он сколько земли себе откромсал и дальше прет... Народ одетый, обутый и сытый. Не наш брат.

— Ну, и наш царь просить не станет.

— Стало быть, мира не будет... Так и будем воевать, пока не перебьют.

— Эх, ребята! Вдруг — манихфест. Кончена война. Айда, ребята, домой... А за то, что воевали, кровь свою проливали, кажинному солдату три десятины земли и лесу на постройку...

— Дадут, пожалуй, держи карман шире. Три аршина землицы и лесу на гроб... А то и без лесу обойдешься, так полежишь, не барин...

— А сейчас бы домой в самый раз поспеть. У нас только-только теперь сеять. У нас долго зима держится.

— А у нас, в Херсонской, скоро поспеет пшеница. В июле уже снимают.

— А тут, гляди, вспахать успели, может, и посеяли, да всю и затоптали...

— Тут много добра зря погубили.

Лежу у бруствера, греясь на солнце, и слушаю разговор, не видя лиц беседующих. Среди солдат много новых.

У нас крепкие окопы, построенные по всем правилам саперного искусства. Здесь, видно, решено оказать неприятелю решительное сопротивление. Если он здесь нас сломит, его не удержать никакими силами.

В окопах глубокие ниши для патронов, для бочек с питьевой водой. Над окопами крепкие навесы. Внутри окопов стоки для дождевой воды. Дальше, по ходу сообщения, клозеты и еще дальше кухни в земле. Впереди — широкая полоса проволочных заграждений. Таких основательных окопов мы еще никогда не строили.

Ночью слышим далекий грохот орудий. И далеко, слева от нас, на черном горизонте вспыхивает зарницами багровое зарево. Оно то вдруг становится золотисто-ярким и огромным, будто придвигается к нам, то спадает, темнеет и уходит вдаль...

Весь следующий день орудийный гул слышен все ближе и ближе, и небо за далеким хребтом холмов затянуто черным туманом.

Проходит еще день. Гул орудий приближается. Ночью зарево появляется и справа от нас. Нам кажется, что нас сжимают огненным кольцом, что нас охватывают гигантский петлей и нам уже не уйти из чудовищных лап. Завеса огня и черного тумана стеной стоит перед глазами; гул и грохот орудий, как далекие раскаты грома, перекатываются по небу.

Мы, как звери, изощренным чутьем, животным инстинктом чувствуем опасность.

На рассвете нового дня, когда мы спали, завернувшись в шинели, с грохотом, с воем, свистом и гулом в пятистах шагах от роты разорвался огромный снаряд.

Земля под ногами дрожит и нас будто подбрасывает. Все сразу вскакиваем и долго слышим гул в воздухе, как после удара гигантского колокола.

Впереди, на пустом пространстве еще не рассеялась огромная черная туча дыма и пыли. Она медленно отделяется от земли и, разрываясь на клочья, расплывается по сторонам.

Медлительно проходят минуты. Мы напряженно и неотрывно смотрим в сторону разрыва, ожидая нового удара. Моментами напряженность ожидания доходит до безумного желания — скорей бы, скорей новый удар.

На серых, истомленных лицах солдат разлита желтоватая бледность. Блестят запавшие, больные глаза.

На востоке загораются первые багровые полосы, еще омраченные сверху синевой. На маленьких голубых облаках появляются снизу золотистые барашки. Небо окрашивается в розовые, багряные, изумрудные, бирюзовые и синие цвета.

Левее нашей роты, против расположения соседнего батальона, не долетая до окопов, разрывается снаряд. Опять огромный столб черного дыма и земли, с красно-желтой огненной сердцевиной... Опять грохот, гром и гул и медленно расплывающееся черное облако.

Каждые несколько минут раздается оглушительный взрыв то в одном, то в другом месте, против линии нашего полка. Ветром доносит запах дыма и взрывчатых веществ. Снаряды разрываются уже и позади наших окопов. Мы сидим глубоко в своих норах, прижавшись к стенкам. Взрывы слышны чаще и чаще, почти один за другим. Один из них раздается совсем близко, оглушая с такой силой, будто взлетели в воздух тысячи пудов листового железа... Звук взрыва смешивается с каким-то глухим, плотным призвуком тяжелого шлепанья, будто на землю упали тяжелые мешки с песком.

За взрывом раздаются крики и стоны. Они длятся много времени и заглушаются только следующими снарядами. Потом стоны продолжаются. Мы их слышим, кажется много часов. Под ураганным огнем тяжелых орудий раненых не подбирают, и они лежат в развороченных окопах, полузасыпанные землей и бревнами, с оторванными конечностями, истекающие кровью. Проволочные заграждения во многих местах разворочены, спутаны и сбиты в кучу.

Вечером мы выползаем из окопов и видим посади себя горящие деревни. Все небо объято ярко багряным заревом. На фоне его вьется причудливыми фигурами черный дым над горящими халупами. Тонкие языки пламени лижут клубы дыма, вздымаясь вверх и наклоняясь, как деревья, колеблемые ветром... Видны очертания построек, освещен-

ных пожаром и нетронутых еще огнем. Внезапно вспыхивает один угол, и через минуту постройка горит ярким костром.

Горят все соседние деревни, зажженные огнем снарядов...

Мы сонными глазами смотрим на пылающий горизонт и на черные силуэты сгоревших деревень...

По линии окопов в разных местах мелькают фонари. Убирают раненых и убитых. У санитаров длинные палки с острыми наконечниками. Проходя между недвижных тел, они тыкают палкой в тело, чтобы отличить живых...

Уснуть, уснуть, скорее уснуть. Я влезаю в блиндаж к батальонному командиру, заворачиваюсь в шинель и прижимаюсь к стенке. Чайка говорит:

— Спите, спите, на рассвете разбудят. Спокойной ночи...

— Спокойной ночи...

— От рассвета до позднего вечера мы не можем высунуть головы и сидим в полутемном окопе без движения. Навесы над окопами не сплошные, и под сильным огнем мы сбиваемся в кучу, прячась под легким прикрытием. В конце ходов сообщения имеются убежища от сильного огня, но нам не разрешают туда уйти, ожидая каждый час атаки. Да и убежища могут спасти только от шрапнели, — тяжелые снаряды их разносят, как и окопы.

Где-то недалеко позади нас расположились наши тяжелые батареи, и к грохоту немецких разрывов прибавляется гром орудийных выстрелов. Беспрерывный гул сотрясает воздух. Мы ждем как избавления ночной темноты.

Но ночью нас еще заставляют чинить окопы и проволочные заграждения, рыть новые ходы сообщения и хоронить мертвых...

Внезапно к огню тяжелых батарей прибавляется шрапнель. Она осыпает нас мелкими осколками и фонтаном пуль.

Немцы открывают ураганный огонь, подготовляя атаку. В окопах суматоха и паника. Ее создают недавно прибывшие запасные и ополченцы. Снаряды рвутся у самых окопов и над головой.

Аэроплан, летающий над нами, сбрасывает бомбы.

Нам приказывают не отходить от своих мест. У ног каждого из нас груды патронов и ручные гранаты.

Издали видны редкие цепи перебегающих немцев. Огонь тяжелых снарядов прекращается. Мы высовываем головы и видим разрывы наших шрапнелей над немецкими цепями,

растянувшимися в несколько рядов по всему полю. Немцы приближаются, и мы открываем бешеный ружейный и пулеметный огонь. Оглушительная, резкая, сухая трескотня дробью рассыпается по полю, вздымая облака пыли.

Наш огонь нас подбадривает, и мы энергичней заряжаем винтовки, беспрерывно стреляя. Цепи продолжают придвигаться. Они уже ясно видны. По окопам бегут взводные, указывая прицел.

Совсем близко от меня, над нашей ротой разрывается шрапнель. На минутку оглядываюсь и схожу со ступеньки в глубину окопа. Там лежат и сидят раненые, сбившись в кучу. Возле них возятся санитары, укладывая их на носилки. Возвращаюсь на свое место и вижу цепь, заметно придвинувшуюся к нам. У меня мелькает мысль: «Они отчаяннее других, и чорт их несет прямо на нас...» Рядом со мной надрывается пулемет.

Цепи движутся все ближе и ближе... Огонь артиллерии прекращается. И длинные изогнутые ряды, отрываясь от земли, несутся на нас... Сквозь грохот и шум стрельбы слышно «О-о-о-о-о... О-о-о-о-о...»

С винтовками на перевес немцы бегут, широко раскрыв орущие рты.

Позади редеющих немецких цепей лежат по всему полю разбросанные тела. Из-за дальних холмиков появляются новые цепи и быстро приближаются к передним. Наш огонь становится еще сильнее...

К нашему окопу приближается большая группа немцев... Мы ясно различаем их искаженные лица... Огонь нашего пулемета, винтовок и ручных гранат вырывает из их группы больше половины. Остальные бросают в нас гранаты и приближаются к самому окопу. Мы стреляем в упор, и они падают у самого бруствера. Несколько человек бросают винтовки, поднимают руки, но падают, сраженные пулей...

Новые цепи приближаются, но рассеиваются под режущим огнем.

Атака не удалась.

Немцы бегут назад. Одни бегут, не пригибаясь, другие ползут, немногие, бросив винтовки, ползут к нашему окопу... Два аэроплана, окруженные белыми дымками нашей шрапнели, набирают высоту и исчезают.

Все пространство впереди нас усеяно немцами. Наш огонь их преследует. Падают убитые, раненые и укрывающиеся от огня.

Убегающие преследуют разрывы шрапнели.

Поле, насколько видит глаз, от края до края засыпано тысячами людей. Поле живет, колышется, и на нем копошатся, как муравьи, кучки людей.

Потом остаются одни раненые и убитые.

Раненых, лежащих ближе к нашим окопам, подбирают наши санитары. Позже далеко от нас появляются немецкие команды, уносящие своих раненых и убитых. Беру у взводного бинокль и смотрю на работу санитаров. Они движутся в разные стороны с носилками в руках, возятся на земле, уходят за холмики и вновь возвращаются.

Все дни после атаки немцы беспрерывно засыпают нас снарядами. Огонь не прекращается весь день и причиняет нам жестокий урон, разрушая окопы и вырывая тысячи людей. По ночам мы вместе с саперами чиним окопы, нам посылают подкрепления, и мы снова сидим, оглушаемые взрывами и осыпаемые осколками.

Теперь уже наша артиллерия всю ночь бьет по неприятелю. Всю ночь ползают по небу щупальцы прожекторов, освещая облака и внезапно падая на землю.

Нам не уйти отсюда. Мы — безвольные жертвы чужих планов и решений. Немцы решили во что бы то ни стало «выбить» нас из окопов, сбить с наших позиций, продвинуться во что бы то ни стало вперед.

Наши решили во что бы то ни стало удержать позиции, не уступать ни пяди земли, устоять против любого натиска.

Немцам нужно сломить сопротивление, прорвать фронт, и они с варварской настойчивостью, с железным натиском прут на нас, бросая полк за полком, теряя тысячи людей, расстреливая десятки тысяч снарядов... Русским надо удержать фронт, не допустить прорыва, и мы губим полк за полком...

За восемь дней — три атаки... Подготовляя каждую длительным, упорным разрушительным огнем, засыпая нас тысячами снарядов, создавая ад вокруг окопов, — немцы внезапно бросают свои цепи в атаку. Не доходя до наших окопов, разорванные цепи теряют своих людей, сраженных густой тучей пуль. Оставшиеся ползут назад или гибнут у самых проволочных заграждений.

Здесь за десять дней на длинном и узком пространстве погибло несчетное количество людей. Здесь изуродованы и искалечены огромные толпы, бесчисленные массы немцев и русских...

В безумной, фантастической ночной атаке немцы не доходят до наших окопов... Наши малочисленные и скверные прожекторы их открывают случайно слишком рано, и в кромешной тьме мы стреляем без цели, неизвестно куда...

Не видя неприятеля, не зная, далеко ли он, или у самых окопов, напрягая зрение, мы механически стреляем в пространство и швыряем ручные гранаты. Мы стреляем долго, очень долго... Это длится, кажется, часами. Стволы винтовок накалены. Потом прожектор освещает поле впереди нас, и мы видим много лежащих тел и уползающих людей.

Напрасно ждем обещанной смены. Смены нет. Нас некому сменить. И мы продолжаем сидеть в окопах.

Над нами царит странная, непривычная тишина. Канонады нет. Все кругом сожжено. Земля разворочена. Мы сидим возле окопов и лениво беседуем. Молодой вольноопределяющийся из третьего батальона, обросший и грязный, лежит на спине, заложив руки за голову.

— Неужели же никто за нас не заступится? Неужели нас весь мир забыл? Ведь есть же десятки нейтральных стран, — почему они не вмешиваются, не пытаются помирить воюющих?

Ему никто не отвечает. Он садится и опять говорит:

— Вы знаете, я вот был на юридическом факультете. Изучал право. Каких только прав нет! Право государственное, право римское, право публичное, полицейское, обычное, международное, естественное, административное и еще десятки прав... Есть и право войны. Так и называется. Право войны. Эта — часть международного права. Этим правом еще с XVI столетия война рассматривается как средство восстановления нарушенных и выяснения спорных правоотношений. Иначе говоря, — это юридический процесс между государствами... И вот сумели ведь государства сговориться — что можно, чего нельзя. Даже правила ведения войны сочинили. И как объявлять войну, и как ее вести, и как можно убивать и как нельзя. И чем можно, и чем нельзя. Мол, вообще без войны никак не обойтись, это конечно, но надо ее обязательно гуманизировать... А потому — воюйте, но, пожалуйста, соблюдайте правила приличия и гуманности... Ну, стреляйте там, ну, из пушек, из пулеметов, из винтовок; колите штыками, рубите шашками, отрывайте руки, ноги, головы; разрывайте животы, вываливайте внутренности; сжигайте и разрушайте города и деревни; выгоняйте миллионы беженцев, уничтожайте миллионы людей; оставляйте

десятки миллионов калек и сирот, — но только, пожалуйста, делайте как можно гуманнее... Иначе, знаете ли, вам придется за это ответить...

Вольнопер вскакивает и, возбужденно размахивая руками, кричит:

— Но почему же не могут сговориться, что воевать совсем нельзя? Нельзя и кончено! Сто прав всяких выдумали, а почему нет простого человеческого права?.. Нельзя воевать, нельзя натравливать миллионы на миллионы и долгие месяцы друг друга уничтожать, грабить и жечь. Нельзя!..

Он сразу умолкает, смотрит на нас потухающими глазами и устало садится. Он вяло продолжает:

— Сколько юристов в мире. Сколько охранителей законов. Сидят они в своих кабинетах и составляют обвинительные акты или защитительные речи по поводу кражи со взломом, убийства из ревности или покушения на строй... А почему они не соберутся и не выработают закон для всех государств, запрещающий войну?

Он осматривает всех, как бы ожидая ответа, но все молчат. Немолодой солдат из вновь прибывших запасных замечает:

— Н-да... Закону, конечно, такого нету... А только его ежели и напишут, все едино толку не будет... Нет... Воевать завсегда будут... Потому — в ей, в войне то есть, кому-то есть интерес... Да... Нам это ни к чему... Н-да... И с которыми деремся, тем тоже не надо. Им тоже ни к чему...А которым надо, те дома сидят и в каретах ездиют... Н-да... А нам от этого — одна гибель...

Вольнопер продолжает:

— И еще знаете что? Я вот в православной семье родился. Родители религиозные. И сам я, знаете, как-то так и в церковь ходил, и говел, и крест целовал... Все, знаете, как полагается. Я, знаете, думать обо всем этом не успел. Но сейчас я думаю. Я много думаю...

Он снова вскакивает:

— Почему же высшее духовенство молчит? Ведь Христос заповедал: «не убий». Почему же духовенство благословляет войну? Почему нас батюшка ведет в бой с крестом в руке? Почему молчат патриарх православный и папа Римский? Почему они не вмешиваются и не говорят: «Довольно, остановитесь. Христос запретил убивать»?

Он как-то сразу устает, увядает и, как будто поняв свою юношескую наивность, смущенный, молча садится.

Артамонов, в последнее время как-то сразу заметно постаревший, обросший мохнатой бородой, с глазами еще более впавшими и темными, лежит возле оратора животом вниз и, упершись локтями в землю, положил подбородок на ладони. Когда студент умолкает, он еще некоторое время молчит, потом садится, сердито лохматит бороду и резко бросает:

— Папа Римский... Чорт Крымский... И еще чего?.. Ведь вот — образованный, студент, ученый... „Я думаю, много думаю“... А много ль ты надумал?.. Только и всего что про патриарха православного?.. А ведь того умная твоя голова не понимает, что в них то все горе, в них то весь обман...

Приход Гончарова не был случайностью. Кто-то успел ему что-то шепнуть.

— Ну чтож ты молчишь? Рассказывай...

И, как бы продолжая свой прерванный рассказ, Артамонов снова начал.

— Я, значит, дома. Иду в хлев... Подхожу к стойлу, овса насыпаю и хочу уйтить. Только смотрю — и корова и конь пятятся из хлева, медленно эдак, до дверей и вон на двор... Я их загнать хочу обратно, значит, в хлев. Добегаю до них, смотрю — они в воздухе подымаются и летят. И так медленно ногами и хвостами помахивают. И вдруг они уже не корова и не конь, а аропланы... Поднялись повыше и оттелева бонбу — бряк вниз. Как грохнет, — я во сне думаю: убило... И проснулся. Смотрю — у нас недалеко от окопа чемодан шваркнуло... Ну, думаю, слава тебе, господи.

Ночью раскаты грома рвут небо и потрясают воздух. Золотые изломы зарниц ослепляют нас, на короткий миг освещая небо. Воздух насыщен запахом земли, ароматом далекой зелени и терпким озоном. Раскаты грома напоминают близкий разрыв тяжелого снаряда. Вспышки молнии разрезают синим золотом небо. Они, точно ракеты, освещают черное поле и мрак горизонта.

Летний ливень сплошной массой воды падает на сухую землю. Шум дождя так велик, что мы не слышим друг друга. Мы сбиваемся в кучи под навесы, но земля в навесах размывается и грязными струйками стекает вниз. Дождь косыми струями обливает нас. Мы промокаем насквозь. Вода потоками хлещет в окопы и задерживается в них, не успевая пройти по стокам. Мы стоим по щиколки в воде и грязи.

Ливень продолжается до рассвета.

Мы во власти липкой, жидкой грязи и воды. В окопах вода, стены мокры, вылезть наружу нельзя, края обваливаются. Шинели, винтовки, вещевые мешки, — все мокрое. Дует холодный ветер...

Дождь кончается.

И сразу же начинается канонада. В одну-две минуты на небольшом расстоянии разрывается несколько снарядов и падает у самых окопов.

Немцы открывают ураганный огонь из тяжелых и трехдюймовых орудий. Мы никогда не видели такого безумного количества снарядов. Мы никогда не слышали такого грома разрывов, такого пронзительного воя шрапнели, таких криков раненых.

Совсем близко возле нас разорвался снаряд. В сером полумраке рассвета вижу обвалившийся и разбросанный во все стороны бруствер, заваленный землей окоп и копошащуюся кучу людей...

Не успеваю рассмотреть, что там... Над головой раздается гром... На меня обваливается куча земли, и я падаю на дно окопа. Тяжелая двойная дверь, засыпанная землей и служившая навесом, отлетает в сторону.

Я, кажется, цел. Вылезаю из-под кучи земли и грязи.

Канонада усиливается. Окопы разворочены. По всему полю, близко к окопам, взлетают черные столбы с огненным стержнем. В воздухе висят и тают белые дымки шрапнели. Я хватаюсь за торчащий край двери и вылезаю из окопа.

Из черных ям выскакивают солдаты и бегут, не сгибаясь, по размокшему полю.

Окопы оставлены.

Впереди рвется снаряд. Кусок огня, фонтан земли. Мы обегаем это место, будто здесь должен разорваться второй снаряд.

Бегу вперед и в сторону, помня, что здесь где-то близко шоссе. Я не вижу никого из наших. Кругом чужие. Другие батальоны, другие полки.

У маленькой рощицы артиллеристы успели запрячь лошадей в трехдюймовки, но орудия вязнут в грязи и их невозможно вытащить. Офицер, надрываясь, зовет бегущих солдат помочь, но все бегут мимо.

Из рощи выбегает и бешено несется к брошенным окопам раненая лошадь. У нее вырван клок мяса из живота, и оттуда выпадают внутренности... Пучок длинных, тонких темных кишек волочится по земле... Она вдруг останавливается как вкопанная, запутавшись передними ногами в кишках, и падает...

Добегаем до шоссе. Отступают штаб полка и лазарет... Вскачь несутся двуколки, линейки, верховые, мчатся велосипедисты...

Немцы знают пути отступления. Их снаряды рвутся уже на шоссе. Убитых и раненых никто не подбирает. Валяются разбитые подводы, брошенные двуколки, убитые лошади. Мы бежим, не останавливаясь.

Я бегу с толпой однополчан.

Мне рассказывают, как убило Чайку...

Я не хочу верить... Когда? Где?

Когда Чайка увидел бегущий из окопов батальон, он выскочил из блиндажа, желая остановить солдат.

Но осколок шрапнели попал ему между глаз.

В двух шагах от него убит Былин.

Я механически бегу вместе с другими. В глазах серый туман. И в тумане смеющееся лицо веселого Былина, щелки его лукавых глаз:

«Та ну вас к бису, с вами тико греха наберешься... Та ладно, уси тамочки будем...»

Проплывает лицо Чайки, его добрые, красивые глаза смотрят с ласковым упреком:

«Зачем же вы оставили меня одного?»

Мы бежим, потом идем и опять бежим... Мы пересекаем поле и приближаемся к другой дороге. Здесь та же картина. Солдаты, линейки, двуколки, верховые, мотоциклы...

Издали я узнаю огромную фигуру Артамонова. Он взвалил на плечи раненого и, согнувшись под тяжестью ноши, грузно шагает к шоссе.

Пробегаем мимо издыхающей лошади. Она поднимает голову. Ее красивый большой темнокарий глаз наполнен такой тоской, что я отворачиваюсь, чтоб не видеть его.

Над нами летят аэропланы и сбрасывают бомбы... По всему полю рвутся снаряды. Мы окружены огненным кольцом.

Я больше не могу бежать.

Почти падая, я сажусь в грязь на краю дороги... В ста шагах рвется снаряд... Но я не поднимаюсь...

Мне хочется прилечь...

Я ложусь и закрываю глаза...

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА Агрономического ИНСТИТУТА

ПОГАШЕНО